ВРЕМЯ И МЫ

54
1980

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ИНСТРУКТАЖ В РИМЕ

● ЛИБЕРАЛИЗМ ИЛИ КОММУНИЗМ

● НАЛОГОВЫЙ БУНТ В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ

● ИМПЕРИЯ И НАРОД

● ДВЕ ИСТИНЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

● А. БЕЛИНКОВ О ЦЕНЗУРЕ

Наши публикации

Письма Н. Лескова

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

54
1980 ИЮНЬ

Н Ь Ю - Й О Р К-Т Е Л Ь - А В И В-П А Р И Ж

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН
ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Sztein, 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES FRANCE.

Представители журнала:

Англия — Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Западный Берлин — Лотар Ролл
Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, T. 603 33 49

Канада — Юрий Лурьи
30S Robton Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3I 2N2
t (2041 474 9773

ФРГ — Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Бибилиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Евгений ЦВЕТКОВ
Наверно, вы никогда не любили . . . 5
Аркадий ЛЬВОВ
Инструктаж в Риме . . . 44

ПОЭЗИЯ

Семен ЛИПКИН
Туман в горах . . . 56
Юрий ИОФЕ
Итальянские стихи . . . 69
Лин ВЛАДИМИРОВА
Под ливень слез и путаницу фраз . . . 80

ФИЛОСОФИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ

Исайя БЕРЛИН
Что принес нам двадцатый век . . . 88
Исраэль ШАМИР
Тринадцатая поправка . . . 105
Игорь НОЛЯИН
Империя и народ . . . 124
Лидия ВОРОНИНА
Две истины советского человека . . . 134

ПОЛЕМИКА

Н. ПРАТ
Серьезная дискуссия и эмигрантские ссоры . . . 144

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Наталия БЕЛИНКОВА
Аркадий Белинков — 1970 год . . . 162

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма Н. Лескова . . . 180

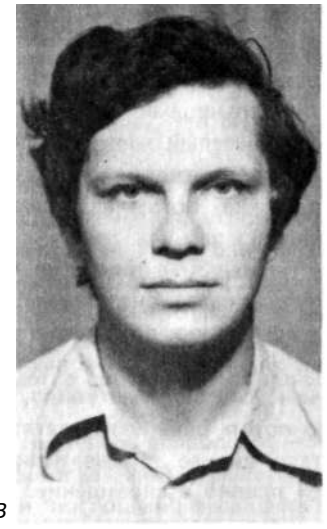
ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Политическая живопись Эдуардо Арройо . . . 210

Мнения, выражаемые авторами, не **обязательно совпадают с мнением редакции.**

© **"Время и Мы"**

ПРОЗА



Евгений ЦВЕТКОВ

НАВЕРНО, ВЫ НИКОГДА НЕ ЛЮБИЛИ

Глава из романа

Долго смотрела Зина на строчки в письме: "Милая Зинуля, все идет отлично. Прости, не мог написать, так закрутился с переездом, что ни минутки времени не было. Скоро приедешь, не грусти…

На "милой Зинуле" Зина всплакнула. Но быстро с собой справилась и письмо спрятала. В тот вечер подружки по общежитию ничего в ней непривычного не заметили. Только одна из них спросила лениво: "А чего, Зинка, не скучаешь по своему еврейчику-американчику?" А после вздохнула и добавила: "Все мужики — подлецы".

Спать Зина легла пораньше, но заснуть долго не могла, все лежала и думала о том, какая же она дура. Но себя не упрекала сильно, а считала, что и в самом деле попутал ее бес. Одна соседка по комнате давно заснула и во сне постанывала очень натурально и призывно. "Небось, Борьку своего видит", — шепотом сообщила Зине вторая соседка.— "Эх! Не спится что-то одной, хоть бы согрел кто, а, Зина?" — затевала она разговор, но Зина не отозвалась и в разговор не вступила.

*Copyright автора.

сделала вид, что спит. Обе подружки выступали у нее в суде свидетельницами пропажи мужа. Из соседней комнаты донесся веселый женский визг и смутно, приглушенно кто-то забасил в ответ. "Нюра гуляет", — сказала в последний раз подружка, потом вздохнула, перевернулась, поворочалась с минуту и заснула.

Теперь Зине никто не мешал и не перебивал ей мысли. Открыв глаза, она глядела на смазанные пятна света на потолке до тех пор, пока пятна не стали расплываться перед глазами, задвигались и не выступило из них лицо мужа. Только очень смутно выступило, далекое, так что не разглядеть. Но потом веки у нее затяжелели и опустились и тогда лицо стало виднее. Чужая незнакомая жизнь распахнулась пред ней плавно в сновидении. Смутно долетел до слуха счастливый смех из соседней комнаты, но ей почудилось, что это она смеется, и так стало вдруг легко ей и радостно. Где-то вдалеке грянули хором "Ты рушник вышивала", но Зина не слышала, она была в другом мире.

ПО СУДАМ

Утром она пошла в суд, где ее две недели назад развели. С полчаса отсидела в очереди, потом вошла в кабинет судьи и молча протянула ему письмо.

— Что такое? — спросил судья и нахмурился, разглядев иностранную марку на конверте.

— Муж объявился. Который без вести пропал. Вот пришла весточка,— тихим скорбным голосом пояснила Зина.

— Ну и что? — полюбопытствовал судья.

— Значит развод недействителен, и надо оформить брак по-старому, — твердо сказала Зина.

На слове "недействителен" судья сощурил глазки.

— Это как же недействителен? — протянул он ядовито. — А ты о чем думала, когда разводилась? А твои подружки, значит, ложно тут показывали?! А ты знаешь, что бывает за дачу ложных показаний?! — заорал судья.

— Вы должны были сами проверить, пропал он без вести или нет, — не отступала Зина.

Тут судья и взвился. Закричал на Зину, что он ничего не должен! Что она только в жизни нашей, советской, путается под ногами! Вышла замуж за невесть кого и как, а теперь воду мутит. Тут в кабинет вошла женщина, второй судья, и они так стали кричать, что Зина поняла — ничего не добьешься тут. Тогда она встала и вышла из кабинета под звуки двух голосов, так и поливавших ее словесными помоями.

— Еще украинка, — орал судья. — Нашла себе черт знает кого. Сбежал в Америку! Не могла себе найти нормального парня!

— Совсем распустились! Все им теперь дозволено! — неистово вторила баба-судья. Только когда Зина закрыла за собой дверь суда, голоса вмиг стихли, поглощенные веществом и расстоянием. По яркой, солнечной морозной улице бежали темные фигурки, бодро хрустел снег под каблуками. Дыхание стыло облачками пара. Грязно перемалывая колесами посыпанный солью и опилками снег, грузно пролетел троллейбус. Зина ринулась в городской суд.

В городском суде народу было поболее, чем в районном, а приемная побогаче. Вполголоса люди переговаривались. Зина спросила, кто последний и пристроилась на краешке деревянного дивана. Рядом пожилой мужчина горячился и что-то доказывал старухе в пуховом платке. Непроизвольно его голос время от времени повышался в силе, и тогда старуха на него шикала, тревожно скользя взглядом по приемной. "Тише, тише, ты", — шипела она. "А что, тише", — наконец взорвался мужик. "Закон нонче, что дышло, куда повернешь, туда и вышло!" — объявил он и с вызовом оглядел близ сидящих. Те намеренно отвели взгляды. Старуха гневно дернула его за рукав,и он смирился. Замолк и закурил.

Приняла Зину женщина. Вежливо поздоровалась, предложила садиться и сухо спросила: "Что у вас?"

Тут Зина выбрала другую тактику.

— Я не знаю, что делать мне теперь, — сказала Зина. — Развелась с мужем, как без вести пропавшим, а он, оказывается,

не пропал... — и положила на стол решение суда и письмо от мужа. Женщина внимательно прочитала то и другое и спросила: "Так чего вы хотите?"

— Хочу обратного решения. Муж-то есть!

— Откуда это следует, что муж есть? — осведомилась судья.

— Как откуда, — оторопела Зина. — Вот, письмо от него.

— Это не документ. Вот это документ, — веско сказала судья и дотронулась рукой до постановления суда о разводе. — А это... письмо и все.

— Это от него письмо. Я два дня как получила...

— Я не говорю, что ты его сама написала, — прервала ее женщина-судья, переходя на "ты". — Но это не документ для суда. Ничего сделать не могу, — заключила она и посмотрела на Зину отсутствующим взглядом.

— Что же мне делать? — тихо спросила Зина.

— Не знаю, — ответила судья и стала всем видом показывать, что Зина ее задерживает.

— Но почему ничего нельзя сделать?! — воскликнула Зина, поднимаясь со стула. Судья поглядела на нее внимательно и вдруг заговорила.

— Во-первых, потому, что нечего было разводиться. В войну без вести пропавших по многу лет ждали. А ты в три недели развелась. Значит, не доверяешь. Во-вторых, сегодня пришло письмо, а завтра опять нет писем, что, ты снова придешь разводиться?! А в-третьих, не мутила бы ты лучше воду. Где твой муж, в... Кливленде (с запинкой прочитала судья), а где этот Кливленд находится?!

— В Америке,— эхом отозвалась Зина.

— Где в Америке?! Ты и не знаешь места даже. Какая такая Америка?! Может, и нет там такого города!

— Есть, — твердо, хотя и тихо возразила Зина.

— А может, и нет, — стояла на своем судья. — Во всяком случае из документов этого не следует, — закончила она и снова перешла на "вы". — Ничем помочь не могу вам, — сказала она. — И, пожалуйста, не задерживайте меня зря, там еще много людей, а вы задерживаете...

* * *

В Верховный суд республики Зина в тот день не пошла, да и не попала бы, поздно уже было. Поплелась в общежитие, а по дороге зашла на почтамт. Там ей сухо выдали очередную открытку от мужа, но теперь эта весточка ее не порадовала, не оглядела она, как прежде, с мстительной радостью в душе работниц почтамта, так люто ей завидовавших все это время. Что эта открытка?! Когда нужен был документ!

В общежитии ее встретил комендант:

— Зиночка, срок прописочки кончается, — объявил он ей в ласкательно-уменьшительных словах. — Что делать будешь? — и, заметив у нее мрачность на лице, затараторил. — Что случилось, Зиночка, кто девушку обидел, только подскажи, убьем злодея, ха, ха, ха... Людочка, — кинулся он к толстой девахе, — Людочка, что мне с тобой делать, — зашептал он озабоченно, невзначай, рукой поглаживая ей зад. "Не лапай, не твое!" — огрызнулась деваха... "А может, и моим станет, — пропел комендант. — На время, на время... жена и дети, ха, ха, ха... Прописочка тебе продлена, Людочка, продлена..." — и увидев, что Зина уходит, крикнул ей вслед:

— Три дня, Зинуля, через три дня либо бумагу из конторы либо... прости, порядок такой...

В комнате никого не было, чему Зина порадовалась. Но не успела она прочитать открытку, как вошла одна из ее соседок.

— Ну, Зина, подвела ты нас под монастырь, — начала она с порога. — Теперь нас за ложные свидетельства засудят.

— Не засудят, — отрезала Зина.

— Ты погляди на нее! — закричала соседка, обращаясь ко второй, только что вошедшей в комнату подружке. — Хоть бы извинилась! Не засудят,— передразнила она. — Нечего, дура, было разводиться! Куда спешила?

— Что, опять появился твой еврейчик? — поинтересовалась вторая, снимая шубу. — Ну и намаешься ты с ним, Зина. Чего пишет-то?..

— Переезжал из Италии в Америку вот и не мог написать. А сейчас устроился.

— В А-амери-и-ку-у, — протянула первая. — Чего ж он в свой Израиль не поехал?

—Ну, и что ты собираешься теперь делать? — встряла вторая. — Опять сводиться?

— Не сводят. Говорят, — это, — она помахала открыткой, — не доказательство, не документ, что муж есть...

— Значит, опять будешь сводиться, — ответила сама себе подруга. — Не выпустят тебя.

— Может, и выпустят,— возразила Зина.

— Не, не выпустят. И не быть тебе американкой, Зина...

— А пусть он тебе справку пришлет, — опять вступила другая, — что я, мол, такой-то и такой-то, без вести не пропал, а являюсь законным мужем Зины Гораль, и подпись начальника и печать...

— У них таких справок не выдают, — возразила первая.

— Везде выдают такие справки...

— Ладно, Зинка сама сообразит, как ей жить дальше. Она теперь от нас отделилась опять, — по-простому сказала подруга. — Что ж, значит, теперь разные у нас будут судьбы. Мы тут, ты — в Америку... Катись, может, там жизнь не такая свинская, как тут...

— Открыточку пришли или хоть вспомни, — добавила вторая. — Пошли! — сказала она другой соседке, — пусть Зина об жизни одна подумает. Эх, дура, такую возможность загубила, — прибавила она в конце.

Они ушли, даже не сказав, куда, и это больно кольнуло Зину. Меж ними и собой она вновь ощутила стену, которая на миг было исчезла, как только она развелась. Вздохнула Зина и села писать письмо.

"Дорогой мой муж, — писала она, — пришли мне справку, что ты есть у меня, без этого мне не верят и документы не хотят брать в ОВИРЕ,— хитрила Зина. — Чтобы заверена была справка, с печатями..." Сообщала новости, что вот, у нее кончается прописка, что не знает, как и где будет дальше жить, потом упрекала, что не писал так долго, а она не знала, что и

думать, ведь она совсем одна... и прочее, и прочее... И заключила письмо обычными: "целую, помню, люблю... Твоя Зина".

Сложила письмо, запечатала в конверт. Долго и аккуратно копировала адрес, написанный английскими буквами. Потом пошла прямо на почтамт и бросила письмо в главный ящик.

На следующий день Зина решила все же пойти в Верховный суд.

Верховный суд был всегда судом. Когда-то царским, теперь советским. В нем, в этом здании, при царе судили Бейлиса. Известный вышел процесс, антисемитский. Всколыхнулась тогда вся прогрессивная общественность России и выступила в защиту бедного, ни в чем не повинного еврея, которого обвиняли ни много ни мало — в ритуальном убиении христианских младенцев.

Теперь в этом здании-колоссе располагалось много служб: тут, помимо собственно суда, находилось управление внутренних дел, пожарная команда... Возле здания суда стоял памятник Богдану Хмельницкому, который, по словам антирусски настроенных украинцев, указывал рукой в сторону Москвы, туда призывая идти походом.

Неподалеку совсем сиял куполом Софийский собор, возле которого в дни престольные толпились нищие и старухи в темных платках.

По ступеням поднялась Зина и вошла в огромный вестибюль. Гулко и пустынно дохнуло на нее внутри огромного дома. Помпезная лестница, широченная, вела еще выше, и Зина пошла по ней, робко оглядываясь по сторонам. Страшный вид запустения наполнил ей душу тревогой. Облезла позолота, статуи исчезли, и вместо них зияла уродливость запустения. Так выглядит вельможный, осанистый старик, в когда-то золоченом одеянии, которое от лет и небереженья полезло, облиняло. И сам обрюзг. И превратился вельможа в страшного ряженого клоуна-пропойцу, который тщетно пытается сохранить осанистость. И надо сказать, зданию суда это удавалось. Почтение и страх вызывала гулкая пустота гиганта.

Какие-то люди, как крысы, шныряли все время и в разные

стороны. Человек казался маленьким под этими сводами и старался пробежать стороной, бочком проскользнуть...

Когда ж очутилась она в просторном, светлом кабинете, со строгими портретами на стенах, и глаза изображенных незамысловатой кистью (так показалось Зине) осуждающе и даже зло на нее уставились, вконец Зина оробела. По мягкому ковру ее провели в кабинет к столу, и седой человек, а с ним помоложе, брюнет с бородавкой на носу, выслушали Зину. Седовласый поглядел на нее и вдруг наклонился через стол и сказал:

— А ты чего с жидами путаешься?! Купили, что ли? Своего у тебя нет народа?

— А ей все равно, — тут же вставил с бородавкой на носу. — Она про свой народ забыла.

— Вон отсюда!! — вдруг заорал на нее первый.

— Пошли, пошли, — забормотал второй, ловко подхватил ее под мышки и выставил из кабинета, приговаривая: — Видишь, как рассердила человека? А знаешь, кто он? Захочет, — в двадцать четыре часа полетишь из Киева... — и захлопнул дверь.

— Ах, какая назойливая публика! Как распустились! Чуть что, не куда-нибудь, а прямо в Верховный суд республики бегут! Жаловаться! Устал, устал я от этих иудейских братьев,— седовласый глаза закатил. Чернявый с бородавкой на носу салился улыбочкой. — От твоих братьев устал я! — воскликнул, обращаясь к нему, седовласый. — Есть среди вас прекрасные люди, не спорю! Ну, а эти, что бегут, как крысы с корабля?! Не-ет, не могу, не м о г у... Много там народу? Черт с ними, скажи, что прием закончен. Уехал на срочное совещание. Не могу, надо вознаградить себя, иначе с ума сойду. Коньяк с шашлычком организуй и срочно, срочно... Надо же, как распустились...

Чернявый вышел и, посуровев лицом, объявил, что сегодня приема больше не будет. Человек десять зашумели, заволновались, подступили вплотную. Кто-то стал тыкать в табличку на двери и кричать, что написано до трех, еще два часа...

Но чернявый слушать не стал, скользнул в дверь и пропал. Возмущенная публика потолкалась и разошлась.

* * *

Зина в тот вечер ела докторскую колбасу с хлебом и запивала все это чаем. Обе ее подруги ели колбасу одесскую. Первый раз за все время они ничего не предложили Зине. В комнате висело молчание. Зину ни о чем не спрашивали, а сама она была не разговорчива. И тогда Зина поняла, что она осталась в одиночестве, что теперь меж ней и хорошо знакомой жизнью и всеми в ней пробежала непрерывно расширяющаяся трещина, на глазах превращавшаяся в пропасть... Она еще была здесь, ела колбасу, пила чай..., но вроде ее уже и не было...

— Что вы меня вроде хороните, — вдруг сказала она вслух. Обе подруги вздрогнули. Потом они молча глядели друг на друга. Одна вздохнула тяжело и промолчала. А вторая вдруг засуетилась и стала убирать со стола. Больше Зина не произнесла ни слова в тот вечер.

ОДИНОЧЕСТВО

Кто не знает из киевлян знаменитого жилищного толчка! Толкучка жилищная или попросту толчок изгонялся из многих мест, пока как-то не закрепился в районе старого ботанического сада в самом центре города. Этот сад был посажен в самом начале века на месте старой городской свалки, откуда всегда несло ужасающей вонью. Но для растения всякого вонь и гниль — суть благо, и растения тут возросли великолепно. Сад-парк был дик и неухожен. Огромные овраги, ручьи пересекали заросли, и вдруг заплутавший в этой дикости прохожий мог узреть на стволе ничем не примечательного растения табличку по-латыни, обозначавшую какую-то ботаническую знаменитость.

Единственный ухоженный пятачок этого сада, со скамеечками, располагался прямо напротив, тоже единственного,

действующего Владимирского собора. На этом пятачке располагался толчок. Здесь безумцы менялись квартирами. Кто знает, быть может, эти дряхлые старики и старухи нашли в том смысл своего незаметного существования, или их взрослые дети, которым самим было бы зазорно тут толпиться, послали бабушку или деда в надежде обрести лучшее место под солнцем. Увы, увы! Душа наша может скользить меж звезд, мысль улетает к другим вселенным, а с телом совсем по-иному. Телом приписаны граждане к городу, улице и дому. А в доме — к квартире под номером. И некоторые, да что некоторые! большинство, практически, на всю жизнь приписаны. Как в царстве древних инков.

Эх! Каких тут только людей ни увидишь и каких разговоров ни наслушаешься. И каждый друзьям свой район хулит. Где вы живете, в Дарницком районе? Это за Днепром. Так то ж Черниговская губерния! А Харьковское шоссе совсем ужас и отвращение вызывает. Кошмар, вы ближе к Харькову живете чем к Киеву, — кричит человек обреченному жить в районе Харьковского шоссе. А вы? Нивки? Какие Нивки, я свой район Нявками зову, — с ненавистью говорит жительница Нивок. Но зато, когда подходит человек к тому, от кого зависит свобода и избавление от ненавистного района,— все разом меняется. И теперь ласков голос, а место описывается так, что тут же туда хочется поехать и навсегда там остаться жить. Лес из окна, Днепр рядом, а остановка автобуса, который довозит прямо в центр, или метро всегда через дорогу... Ах, не верьте человеческим словам. Лгут, лгут люди, сознательно, намеренно, расчетливо и... часто. Но ложь не помогает, и маятся бедные старые люди изо дня в день, из месяца в месяц, и тщетны их усилия поменять место жительства под солнцем. А ведь на какие только не идут ухищрения, каких только вариантов не изобретают. Великими комбинаторными способностями выстраиваются тончайшие схемы. Один изобрел шестерной обмен, о чем сообщал большой плакат у него на груди. И стрелками были показаны все перемещения. И точное время указано, когда и откуда кто должен выезжать... И все зря! Не хватало лишь одного звена. Он ходил

изо дня в день, и все остальные звенья ждали в готовности. Три года... Быть может, дождались, если не умерло звено из найденных уже. Воистину, на все воля Божья.

Вот там, на этом толчке, Зина и "достала" себе комнату. Договорилась и в тот же день перебралась из общежития. Ее две подружки сначала молча наблюдали, как она собирает свою хозяйственную сумку, набивает ее тряпьем. Потом одна сказала:

— Уезжаешь? — и не дожидаясь ответа, вздохнув, заговорила: — Ты на нас, Зина, не обижайся. Мы тебя очень любим, но, видишь, как в жизни по-разному выходит. Ты уезжаешь — мы остаемся.

— Я еще никуда не уехала, — сказала Зина.

— Уедешь, раньше, позже, а уедешь, сердце мое чувствует, а граница уже и сейчас между нами. Как ширму кто продернул. Ты по одну сторону, а мы по другую…

— Съездить бы, посмотреть, — вдруг сказала тоскливо вторая. — Одни говорят одно, другие — другое... В газетах пишут — третье.., а х... его знает, как там на самом деле,— выматерилась она. — Может, там и делать нам совсем нечего, так хоть бы посмотреть. Вон наш прораб в Болгарию ездил отдыхать на пески золотые, т о ж е заграница мне, а сколько порассказал, и люди другие, и то, и се...

Потом они обнялись по очереди, одна подруга даже всплакнула, и Зина ушла.

* * *

В самом центре Киева есть маленький переулок, верней, даже и не переулок, а так, подворотня, где в глубине стоят чудом уцелевшие развалюшки-домики. Заброшенные, забытые и безобразные в дневном свете всем безобразием неухоженной старости, эти дома ждали, пока придет человек, отдаст приказ и их разломают. Чугунной "бабой" в пыль разобьют еще крепкие стены и вывезут вместе с мусором. На чистом пустыре выстроят, может, какой высотный дом, который засверкает стеклом и пластиком... Но то все в буду-

щем, а кто ж знает, что будет впереди. Пока ж дома стояли, и жили в них такие же древние и никому ненужные старики и старухи. У одной из них Зина сняла "угол".

Комнатенка была маленькая, темная, с одним крошечным окошком. Сын у старухи был большим партийным работником и поднимал целину где-то в Казахстане. Раз в год он писал старухе-матери письма. И она страшно этим письмам радовалась. Но сын никогда к ней не приезжал, боялся, видно, за свою партийную русскую карьеру (мать была еврейкой). Старуха терпела. Старая коммунистка, убежденная в правоте жизни, она не жаловалась. Да и некому было жаловаться.

В прихожей жил старик, ее муж. Он был немощен и интерес к жизни давно утратил. Целыми днями лежал он на грязном диванчике. В квартире скверно пахло.

Естественно, положение свое от хозяйки Зина скрыла, и чтобы та ничего не заподозрила, рано утром она уходила из дому (как будто на работу) и возвращалась вечером. Целыми днями Зина болталась по городу. Времени было, сколько хочешь, но деньги подходили к концу, и Зина решила заняться мелкой спекуляцией. Вкус у нее был хороший, все магазины она изучила и знала, где, когда и что бывает, какая помада, духи... Закупив в разных местах платки, помаду, духи, она отправлялась в центральный киевский туалет.

Зинин дворик находился рядом с площадью Калинина, когда-то светским центром Киева. На этой площади была городская дума, да и теперь тут много расположилось важных зданий: центральный гастроном, Дом профсоюзов, а чуть подняться к Софийскому собору — там тебе и суд, ОВИР. А через два дома от Зининого располагались центральные бани. У хозяйки в квартирке был лишь кран с холодной водой. На площади во время войны вешали полицаев, когда отобрали у немцев Киев. Вся площадь была уставлена виселицами. Обозревали повешение с трибун. Там же был и центральный теперь туалет, о котором многое можно было бы рассказать, да жаль, нет места для отвлекающих от главной темы описаний.

Центральный туалет, женское отделение, являл собой черный рынок, где приезжие деревенские бабы, и не только приезжие, покупали у спекулянток то, что трудно достать в магазине. Особенно, если прикатила на денек в Киев, куда там бегать по городу, которого, к тому, и не знаешь толком.

Время от времени женщины, изображавшие из себя покупательниц, вдруг оказывались сотрудниками милиции, и в туалете начиналась облава. Бабы, попавшиеся спекулянтки поднимали вой, визжали и запирались в кабинках. С криками и страшными воплями их оттуда извлекали... Одновременно в мужском отделении туалета шла облава на гомосексуалистов. Жизнь в туалете бурлила страстями. Только у женщин и мужчин эти страсти были разными.

Зина никогда не попадалась. То ли потому, что выглядела слишком по-деревенски, и, в худшем случае, ее могли принять за покупательницу, но никак не за торговку. Слишком сильно отличалась высокая с простым лицом и честным взглядом красивых голубых глаз, неторопливая в движениях Зина от крикливых, назойливых, вертких киевских спекулянток. Надо сказать, что у нее по той же причине охотней покупали. Ее вид внушал доверие.

* * *

Возвращаясь домой, она заходила на Главпочтамт, но там ничего кроме открытки ее не ждало. Зина совсем потеряла надежду, она решила, что письмо потерялось, а может, нельзя такую справку выслать. Подумывала, а не написать ли ей второе письмо, но потом расстраивалась и думала, что, если одно не дошло, то не дойдет и другое и, наверно, теперь ее письма просто перехватывают... И вот, когда надежда ее превратилась в сальный огарок, где еле-еле еще вспыхивал огонек, но грозил вот-вот погаснуть, вдруг пришла ей повестка немедленно явиться в городской суд. Зина испугалась.

— Что, милая, вроде в суд повесточка тебе, — поинтересовалась старуха и подозрительно уставилась на Зину. Ты чего, — спросила она, — не воруешь ли случаем? Смотри, меня не

касается, но таких держать не стану, лучше сразу ищи другое место...

Старуха стала укладываться спать. Ложилась она рано, экономила электричество. В передней закашлял старик и с трудом переменил положение своего одрябшего, в пролежнях, тела.

— Ложись, нечего свет зря жечь. Завтра пойдешь и узнаешь. Утро вечера мудренее. Может, свидетелем по какому делу вызывают,— предположила старуха. — Ты-то сама навряд ли в чем замешана, больно лицо у тебя честное, — и она погасила свет. Зине ничего не оставалось, как лечь спать.

Через маленькое оконце резко светила яркая белая луна в синей изморози ночного зимнего неба. В воздухе плыли жутковатые нечеловеческие стенания и всхлипы. Резкие животные вскрики вдруг оглашали дворик. Это напротив, в теплом подъезде кирпичного дома, собирались и пьянствовали глухонемые. Когда они напивались, они начинали мычать. И тогда страшноватые звуки долго будили застывшую, закоченевшую белую тишину дворика. Под эти звуки Зина заснула. В ту ночь ей снились иностранные кошмары.

* * *

В суде ее встретил совсем другой человек, нежели в прошлый раз. Теперь это был мужчина, довольно молодой, с улыбочкой.

— Зинаида..., год рождения..., проживала, — тут он поднял одну бровь и посмотрел на Зину многозначительно, — прописочка кончилась недавно, — в этом месте Зина поняла, что это не простой судейский человек.

— Зачем меня вызвали? — спросила она после того, как, перечислив все сведения о ней, непростой человек замолк и стал на нее смотреть, как бы оценивая и прикидывая про себя неведомые Зине и потому пугающие, важные для нее вещи.

— Муж твой объявился, — сказал человек. — А ты с ним развелась, записала в пропавшие без вести. А он возьми и

объявись с вестью... — и человек улыбнулся, удовлетворенный собственным каламбуром. — Бумагу прислал, вот! — он показал Зине бумагу с печатями. — Чего ж ты с ним развелась? Я не знаю, что теперь делать.

— Суд должен был проверить, — сказала Зина.

— Может, и должен был, да по-человечески тебе пошли навстречу. Где он, муж, в Америке, за границей, все равно, как на том свете... А ты хочешь развестись, пожалуйста, тебе услугу оказали, любезность... А теперь за эту любезность судье придется расплачиваться! А кто его под монастырь подвел? Мутишь ты воду, Зинаида, — веско закончил он.

— Теперь меня сведут? — спросила Зина, отметая свою и чужую нравственность и все размышления о вине перед кем-то. — Теперь меня обязаны опять свести! А развелась, потому что вдруг почудилось, что пропал.

— Вроде наваждения, наяву приснилось, а? — добродушно, с улыбочкой подсказал человек.

— Теперь меня должны свести с ним снова, — стояла на своем Зина.

— А судья из-за тебя получит выговор, хорошо ли?

— Он должен был проверить, — упиралась Зина и вину на себя не брала.

— Ладно! — жестко оборвал ее человек. — Сводись! Только никуда ты все равно не поедешь. Сладкой жизни захотела... — и он протянул ей бумагу.

* * *

Судья в районном суде, где ее разводили, ужасно огорчился и расстроился от вида иностранной бумаги.

— Извините, что так вышло, — сказала Зина.

— Что мне твои извинения, — тут же завелся судья. — Ты мне выговор отмени, перед пенсией через твои фокусы у меня неприятности. А зачем мне нужны неприятности через это? Кто ты мне? Дочь, родственница? Голову дуришь... А! — в сердцах махнул он рукой и стал писать бумагу.

— Извините, — снова начала Зина, совсем тихо, но тот на нее так посмотрел, что Зина тут же умолкла.

Судья швырнул ей бумагу. Зина взяла, скользнула глазами по написанному и сердечко ее радостно запрыгало. "Считать решение суда от такого-то числа недействительным..."

— А штамп в паспорт? — осмелела она.

Судья на нее только посмотрел молча и вышел.

— А штамп где поставить? — обратилась Зина к секретарю.

— Ты чего, не знаешь, где штампы ставят? — нагрубила та. — Тут штампов никаких не бывает!

— Спасибо, до свиданья, — поспешила Зина, но та даже взглядом ее не удосужила...

* * *

В ЗАГСе женщина внимательно поглядела на бумагу, а потом сказала Зине:

— Штамп поставить не могу.

— Так вот же бумага, что мы женаты...

— Это не бумага о том, что вы женаты, — перебила ее женщина из ЗАГСа. — Эта бумага о том, что решение суда считать недействительным.

— Значит, нас опять свели и я замужем.

— Ничего не значит, — отрезала женщина.

Зина ходила к заведующей, потом к самому главному начальству, но ничего не помогло. Тогда Зина начала скандалить.

— Вы не имеете права не ставить штамп! — повысила она голос.

На это ей заведующая спокойно возразила:

— Да у меня любое с тобой есть право. Прописка у тебя кончилась. Где ты живешь? У тебя даже права в Киеве находиться нету! Тебя вот прямо отсюда я могу отправить в милицию, и тебя за незаконное проживание, без прописки, в двадцать четыре часа отсюда отправят! Ты сначала пропишись, а потом по месту жительства приходи в ЗАГС, вот тебе и поставят штамп, — и, удовлетворенная собственным объяснением, заведующая всем видом показала, что недосуг ей больше с Зиной заниматься. Важно поглядела она на смущенную Зину, которой возразить было нечего. Отсутствие прописки было Зинино слабое место.

* * *

Вечером старуха полюбопытствовала:

— Ну, зачем тебя в суд таскали?

— Там по работе, свидетелем. Всех таскают, — соврала Зина и старуха не поверила, но больше выспрашивать ничего не стала, только заметила:

— Крутишь ты чего-то, девка, — и пошла варить чай.

По вечерам они всегда пили чай. Старик пил с присвистом и всхлипыванием, вытягивая губы трубочкой, прихлебывал из стакана. Старуха пила мелкими глоточками из чашки. Зину никогда не приглашали, да она и отказалась бы — чай был жидкий. Она прилегла на кровати, издалека наблюдая за двумя старыми и никому теперь ненужными людьми, ненужными даже собственному сыну.

Лампочка высвечивала тускло сквозь грязный старый абажур уродливую обстановку комнатки, где они сидели. И, как всегда, скверно пахло, тяжелый, затхлый воздух стоял в квартирке.

— Нет, я не хочу такой жизни, — прошептала Зина едва слышно. — Не хочу! — И неожиданно поняла, что у нее есть выход. Она поняла это еще в суде, когда увидела бумагу, подтверждающую наглядно существование какой-то совсем иной жизни, которая к ней имела отношение теперь, заботилась и ждала. Но ощущение было смутное. Теперь оно стало ясным: "Не хочу" — твердо закрепилось в мозгу. "Хочу жить по-другому!" И от понимания реальности этого другого ей стало удивительно хорошо и спокойно.

Старики кончили пить чай. Старуха прибрала столик, смела ладошкой крошки от печенья с подносика и бросила их себе в рот. Потом они улеглись и примолкли. Зина уснула быстро, и в ту ночь ей снились исключительно цветные сны.

* * *

На следующее утро Зина отправилась в ОВИР. Благо, он располагался совсем недалеко. Когда подходила к зданию, внутренне подтянулась. Но все обошлось на редкость благополучно. Женщина, которая орала на нее в прошлые разы, вдруг улыбнулась Зине и сказала:

— Документы мы у тебя возьмем. Насчет разрешения — не знаю. Вряд ли ты его получишь, а документы принять можем. Плати деньги и сдавай.

И в пять минут от нее забрали бумаги и объявили, чтобы она пришла через три месяца, не раньше.

— Через три месяца? — не выдержала и прямо застонала Зина.

— Что ж ты думаешь, одна тут такая?

— И можно рассчитывать на визу? — прилипла Зина. — Чего ждать три месяца?

— Ждать решения, — жестко произнесла инспектор. — А рассчитывать, конечно, на все можно. Дело и документы будут рассмотрены, и получишь ответ. — И, помягчев голосом, по-матерински добавила: — только думаю, никуда ты и никогда не поедешь, Зина.

— Чего ж ждать тогда? Три-четыре месяца ждать, пока тебе откажут?!

— Прошу тут не кричать и голос на меня не поднимать. Я тебе добра желаю. По-дружески говорю. А так — жди! Вы свободны. Будет решение, узнаете, гражданка Гораль! — и сердито захлопнула папку инспектор. Потом крикнула, огибая в дверях голосом Зину: "Следующий!"

* * *

Лев Толстой когда-то сказал, что побеждает тот, кто умеет ждать. Но, Господи, нет ничего тяжелей ожидания. Когда ничем другим не занята жизнь, и более того, не может быть занята по причине бессмысленности любого действия, и надо лишь дождаться... В какой-то миг становится безразличным

результат, становится неважным содержание письма, лишь бы пришло и все кончилось. Потом начинает человек беду звать, заранее отказывается в душе от решения в свою пользу, топчет ногами надежду... и вдруг в последние мгновения, деньки, вдруг вообще перестает ждать и как бы забывает про эту дорожку судьбы, ведущую в завтра через решение чужой воли. И тогда, в тот самый момент, когда, отчаявшись и устав, больше не ждешь и готов поменять свою жизнь, когда совсем и не нужно более, тогда приходит ответ. И часто, будто награда за страдание, либо насмешка беса, потому ведь уже отказался от этой дороги, решение судьбы бывает благосклонным, и вновь топает, поддавшись соблазну, человек той же тропой.

Зина ждала, но не очень, она решила больше действовать, а не ждать. И... начала ходить в ОВИР каждый день.

Через неделю инспектор, встречая Зину в коридоре, первая кричала нервно: "Вам ничего нет, вам ничего нет!" — и торопилась скрыться. Зина в свою очередь пыталась начать с ней разговор. Потом Зина шла к более высокому начальству с жалобами. Через две недели она начала скандалить. На весь коридор громко заявляла: "Вы права не имеете лишать меня мужа!"

— Кто тебя лишает твоего мужа? — шипела вполголоса инспектор. — Не смей кричать тут! — и заводила к себе в кабинет поскорей, пока удивленный люд, толпившийся в ОВИРе, еще не рассмотрел всего скандала, а только начинали люди головы поворачивать, только в глазах загоралось любопытство, а инспектриса уже запихивала Зину в комнату. Зато в комнате Зина давала простор чувствам, да и надо признаться, поговорить ей тоже хотелось!

— Что я вам сделала? Что плохого сделал вам мой муж?! Почему со мной так поступают?! Я должна каждый день сюда ходить...

— Тебя никто не звал сюда. Ты сама ходишь. Через три месяца. Три месяца! — гадюкой шипела инспектор…

Зина продолжала ходить упорно изо дня в день.

И тогда инспектор дрогнула. Она пошла жаловаться на Зи-

ну сначала начальству. А начальство позвонило "куда следует". И появился в ОВИРе тот самый человек с улыбочкой, с которым Зина разговаривала в городском суде, когда явилась туда по повестке.

В очередной день инспектор была неприветлива, но не зашипела свое всегдашнее: "Вам ничего нет".

— Пройдите в комнату 200, гражданка Гораль, — произнесла, и глаза у нее блеснули.

Человек так и встретил Зину улыбочкой."А, — сказал он,— старая знакомая. Присаживайтесь".

— Вы что, и тут работаете? — поинтересовалась Зина.

— И тут тоже, — лаконично ответствовал он и стал рассматривать Зину, потом спросил: — К мужу, значит, собираешься ехать?

Зина кивнула и сглотнула слюну непроизвольно.

— А что ты там будешь делать? Зачем ты к мужу едешь?

Зина так и выпучилась на него:

— Как зачем? — промямлила она. —Да к мужу! Вот зачем!

— Твой муж предал свою родину, — вдруг сурово и густо сказал человек, вмиг вытерев перед этим с лица улыбочку. — Ты тоже хочешь стать предателем родины?! Хочешь поехать к нашим врагам? Твой муж сионист. Да они ж все на свете и всех чужих ненавидят и хотят напакостить.

— Мой муж не сионист, — оправилась Зина.

— Да ты и слова такого не знаешь. Вон, с запинкой произносишь. Поверь, Зиночка, — перегнулся он через стол. — Нам все известно и много, много виднее, чем тебе, кто он такой. За длинным рублем покатил. Здесь ему плохо жилось. Квартира в центре Киева, деньги, хорошая работа... что, мало давали украсть?! Мешали разбогатеть на ворованном, а разбогатеть хотелось! Поскакал к заокеанским дельцам получиться. А сионисты, они любому дерьму рады, только бы опорочить, только бы навредить нашей стране. А кто его тут обучал в институтах бесплатно!?

— Слушайте, — вдруг оборвала его Зина, — да вы сами верите в то, что говорите?

Человек остановился, поглядел на нее внимательно.

— Заразилась ты, Зина, — сказал он с чувством. — Заразилась.

— Я не заразилась, я хочу каждый день в душе купаться и в своей отдельной комнате жить. Неужели это так плохо и приносит вред мое желание стране? Что я сделала плохого? На меня тут смотрят и впрямь, как на врага. За что?

— За то, Зина, что кто не с нами, тот против нас. Еще Ленин сказал. За то, Зиночка, что страдание наше ты на заграничный унитаз готова променять.

— Хватит, настрадалась. Отец всю жизнь горб в колхозе гнул за гроши. Мать надорвалась. Я живу, как неродная, по грязным чужим углам. Зато власть у нас народная!

— Эге, как ты заговорила. Кто ж тебя так говорить научил-то?

— А вот такие, как ты, которые без мыла в душу лезут, — обозлилась Зина.

На что человек надел улыбочку и сказал:

— Тебе, Зина, отказано. Нет у тебя родственников в Израиле. Да и мужа никакого нет.

— У меня есть справка.

— Справку можешь выкинуть, — объявил ей человек, по-прежнему улыбаясь.

И вот тут в Зине что-то окончательно сломалось. Ненависть поднялась со дна души против вот этих сытых, с улыбочками, городских, которые в ее стране распоряжаются ее судьбой и не допускают и не допускали ее до нормальной жизни. Это была ненависть не просто Зины к кагебешнику, это была тяжелая классовая ненависть батрачки к холую.

— Значит, чуть что, и ты не нужен, враг, — тяжело глядя на человека и его улыбочку, спросила Зина приглушенным голосом. Он взгляда не выдержал. Улыбочка мелькнула кривой гримасой и пропала.

— Да только, чтоб с такими склизнями не разговаривать, стоит уехать.

— Больно ты смелая, Зиночка, — сощурился зло человек. — Иди, жалуйся. Я тебя больше не задерживаю, и разговаривать тоже нет охоты.

Когда Зина выходила, она изо всей силы пустила за собой дверь, но звука не вышло. Дверь тяжелая, обитая кожей, плавно затормозила и неслышно закрылась. Хлопнуть дверью в ОВИРе было нельзя.

Поглядел ей вслед человек из КГБ, вздохнул, зевнул и, вдруг взглянув на часы, заторопился.

* * *

У начальника еврейского отдела КГБ Брюханова раз в неделю проводилось совещание. На него и заспешил человек с ухмылкой, который разговаривал с Зиной. В кабинете было просторно и чисто. На стене висел небольшой портрет Ленина и побольше — Дзержинского. Сотрудники расселись, закурили, после того, как Брюханов коротко бросил: "Курите, разрешаю". Он объявил:

— Сегодня два вопроса: новые распоряжения относительно дальнейшего укрепления социалистической законности, и вот,— он сделал приглашающий жест рукой в сторону элегантно одетого улыбающегося человека,— вот, Геннадий Александрович расскажет нам кое-что из своего заграничного опыта, что имеет отношение к нашим делам... — И передохнув, тут же стал говорить. — За последнее время участились случаи грубо сделанных дел, нарушений законности, которые очевидны и младенцу, и это, товарищи, дает нашим врагам все карты в руки, чтобы порочить нашу страну. У нас нет политических преступлений и быть не может. Я не говорю о злостной пропаганде против советского строя или шпионаже. Но и в случае пропаганды, надо и ж е л а т е л ь н о , — подчеркнул он, — привлекать к уголовной ответственности. Взять, к примеру, всех наших активистов алии. Они все на крючке. У Шлягера — нет прописки. У Саула тесть ворует и жена спекулянтка… Предупреждение, второе, штраф, а потом… полное основание судить и отправлять в лагерь за злостное нарушение паспортного режима. Или взять Левитаса, уклоняется от армии — три года тюрьмы имеем право ему дать в любой момент. Скрывается? Найдем. Но тут, товарищи, — он сделал

многозначительную паузу, — надо учитывать, какие силы стоят за тем или другим человеком. Вот от Хейфица даже собственные родители отказались. А! Каков должен быть человек, чтобы мать и отец от него отвернулись? А у Авинарова так еще чище, просит мать, чтобы мы ее сынка посадили, пишет к нам же донос на сына. Во, какие чудеса у евреев бывают! — Он победоносно оглядел усмехавшуюся аудиторию. — Кто ж за ними стоит? Общественное мнение,— саркастически произнес он два последних слова. — То есть всякая антисоветская шваль, американские сионистствующие еврейчики, которые больше всего боятся, что их заставят поехать в Израиль, а потому откупаются сионистской активностью и посылками. Ну, и все, кому это выгодно вредить нашей стране. Другое дело, когда за спиной у человека стоит государство: взять Левитаса — у него формально есть израильское гражданство. /"Дядя в конгрессе", — крикнул кто-то./ Правильно, — сказал Броханов.— Но пусть побегает вволю. Я не говорю о Ромме, тот вроде как неофициальный представитель. Приходится его терпеть. Так ведь он и не создает нам никаких дурацких положений, не причиняет бед. Консультирует народ, массу, разъясняет ей, чего куда… А мы, товарищи, всегда с любым народом,— закончил он и снова вытер платком обильно выступивший пот на лбу. И тут поднялся Геннадий Александрович и непринужденно заговорил:

— Я вас долго не задержу. Расскажу лишь о своих впечатлениях, которые я вынес, пробыв в Израиле некоторое время. Этот рассказ имеет самое непосредственное отношение к тому делу, которое мы делаем... /Эх,везет же людям! — шепнул специалист по взятию человеку с ухмылкой. Завистью блеснули глаза у всех присутствующих!/ Надо сказать — продолжал франтоватый, весь в иностранное одетый Геннадий Александрович, — страна, конечно, не Азия и не Европа. Жарко, грязновато, климат отвратительный... Обслуживание, как у нас в азиатских республиках. Народ, надо сказать, приветливый, воюют и... неплохо, должен заметить, не в пример нашим арабским братьям... Но все это, впрочем, к делу отношения не имеет. Нам важно другое. Во-первых, израильскому народу

и правительству нужна массовая алия хороших, простых людей, и им не нужны осложнения, протесты, скандалы, связанные с активистами. Так вот, я уже говорил, где следует, и подал рапорт соответствующий... активистов надо кончать в ближайшем будущем и считаться с тявканьем западной прессы не приходится. Ни нам, ни Израилю эти люди не нужны. Кстати, им и не очень доверяют, по многу раз таскают в родственную нам организацию в Израиле, расспрашивают... И второе, товарищи,— тут он сделал многозначительную паузу — советскому человеку Запад не нравится. Я говорю про Запад. Об Израиле и говорить не приходится. Качество жизни, качество отношений между людьми — вот что ниже на Западе, как это ни странно, быть может, покажется! Ниже! В магазинах со снабжением неплохо. Но сколько ты должен претерпеть, ради этого изобилия, как белка в колесе покрутиться. Здесь он был уважаемым человеком, а приехал туда — никто. В этом смысле сионистская пропаганда терпит полный крах. Люди приезжают в Израиль и сильно разочаровываются. И, конечно, если бы граница была открыта, — он даже голос понизил, задушевно произнес, — восемьдесят, а то и девяносто процентов — вернулись бы.

— А что, с ихней родственной организацией у нас есть контакты? — спросил специалист по взятию. — Нельзя, вообще, договориться? Этот — нам, этот — им и всю эту алию, как они говорят, распланировать, без всяких для нас неприятностей.

Геннадий Александрович тонко улыбнулся и сказал:

— Не надо забывать — Израиль не имеет с нами дипломатических отношений, не надо этого забывать...

Еще долго говорил Геннадий Александрович. А потом пошли оперативники обедать, и, выпив коньяку, Брюханов сказал специалисту по взятию и человеку с улыбочкой:

— Большой человек Геннадий Александрович, большой!

— Эх, съездить бы да поглядеть самому на эту Палестину, — мечтательно заявил специалист по взятию.

— Работай, как следует, и съездишь, — отечески пояснил Брюханов. — А я вот никуда не рвусь. Мне и тут неплохо. Вот осень придет, пойду в отпуск, уток постреляю, рыбки половлю.., чего еще надо.

— Устал я от этих евреев и еврейских проблем, перевели бы куда-нибудь на другое дело, — тоскливо заявил человек с улыбочкой, теперь ставшей кривой гримаской отвращения и досады. — Вот сегодня приходит молодая баба, деревенская, а у ней муж в Америке. Орет, скандалит...

— Я бы всех этих жидков, — сказал Брюханов, и глаза у него сузились, — в двадцать четыре часа с автоматчиками переселил в ихний Израиль... Да воздух бы стал чище. А приказали, я их, наоборот, удерживаю, мешаю им уехать... Служба, брат, такое дело. Приказано, и будь здоров. А эта, я знаю про нее, пусть походит. Пока с сионистами местными не спуталась — не страшно. А с ними, я думаю, она не скоро сойдется. Они украинцев, как огня, боятся, особенно, если по-украински говорит человек, не доверяют... — и, хлопнув по плечу человека с улыбочкой, заключил: — Служи и не жалуйся — будешь, как Геннадий Александрович, в заграницы ездить. — И обращаясь к специалисту по взятию, по-деловому приказал, — Кисликом займитесь, Авинарова, я думаю, можно брать. А ко мне пригласите... — он назвал несколько фамилий, потом засмеялся. — И этого, как его, у которого дядя в конгрессе, Левитаса, хе-хе-хе, очень он мне в своей дурацкой черной шляпе нравится. В религию ударился...

А на обратном пути Брюханов сказал:

— Конечно, Геннадий Александрович человек ученый, он ко всему теорию прикладывает, психологию... А только я думаю, лучше по старинке, надо в человека вникнуть, понять его главный мотив, а тогда дави его и не ошибешься. Врага его же оружием бить надо... Что они там не видели за границей? Такая же жизнь, пусть побогаче, а только люди там друг другу горло за кусок хлеба перервут. Вот я помню во время войны и после, когда я работал в Германии, потом в Австрии, насмотрелся я на ихнюю жизнь... — тут Брюханов пустился в воспоминания, которые и человек с ухмылочкой и специалист по взятию слышали много раз. И про то, как он, нарушая

всякие приказы, с немками спал, и про то, как они кормили этих голодных немцев... "Форменный был у них тогда голод"... И, если бы не конец пути, то совсем бы он замучил своих сотрудников, но наступил спасительный миг, и Брюханов, взглянув на часы, воспоминания прервал.

— За работу, — скомандовал он. — Потехе час, а делу время, — и первым отправился к себе в кабинет.

— Будем крепить социалистическую законность,— заиграл улыбочкой тот, что разговаривал в ОВИРе с Зиной. Специалист по взятию поглядел на него, но смолчал, хотя тоже усмехнулся.

* * *

Неправ оказался Брюханов, быстрее Зина познакомилась с сионистами, чем он предполагал. А вышло дело так. В отчаянии и злости начала она ходить по разным инстанциям и скандалить и дошла до республиканского ОВИРа. Вот тут, в приемной, с ней и встретился Шлягер. Приемная эта была замечательна тем, что в двери меж кабинетом и комнатой для посетителей была вставлена тоненькая фанерка и все, о чем говорилось в кабинете, можно было слышать.

В невеселом настроении пребывал Моисей, а попросту Миша Шлягер. По всему, в той странной игре, которую они теперь вели с жизнью, наступил по чьей-то указке перелом, и активистов начали прижимать. Только вчера взяли снова Левитаса и обманно привезли в ГБ. Разговаривал с ним сам Брюханов.

— Ну, какой ты верующий, — потешался он. — Надел шляпу и уже стал верующим. Да что такое вера, знаешь ли ты? Прямо не знаю, что с такими, как ты, делать?

— Отпустите нас по-хорошему, — затянул Левитас свою обычную песенку. — Что мы вам сделали? Зачем вы нас мучаете, зачем наших родителей гробите? У Кислика, вон, мать в больнице лежит, а вы над ним издеваетесь.

— А он пусть бы не матерился у меня на собеседованиях. Не занимался сионизмом, не говорил бы нам пакости, вот

и не мучили бы. Все взаимно, каждому по способностям, — ухмыльнулся Брюханов. — А насчет его матери не беспокойтесь. Она час назад, как умерла. Царство ей небесное. Из-за таких, как вы! — повысил он голос. Это вам неймется, Израиля захотелось, денег больших! А родителей, получается, мы ваших гробим?! Ловко у вас выходит... А насчет твоих родителей совсем грех такое говорить. Где они? В Израиле? А ты? Тут сидишь. Чего же ты тут? Зачем остался? Почему не поехал с ними? Все ваша нация ловчит, авось, думал, проскочит, они уехали, а я дай закончу университет и с ворованным образованием смоюсь... А?! Неправду говорю? Словчить захотелось? А еще шляпу надел, в религию записался. Это тебе Бог такое подсказывает, обманывать чужой народ, который тебя выкормил? Сними шляпу! — заорал Брюханов. — Сними! И убирайся отсюда! Вон!

Левитас шляпу не снял. С достоинством поднялся со стула и пошел к двери. Возле двери повернулся и произнес свое традиционное в их разговорах, которые всегда кончались приблизительно одинаково:

— Отольются вам наши слезки,— пообещал ему Левитас — Бог правду видит...

— Да не скоро скажет, — парировал Брюханов. — Иди, иди, Божий человек. И передай своим, чтоб крепко подумали. Все вы у меня на крючке. Вот ты, без прописки, от армии уклоняешься... И за отсутствие прописки, и за уклонение от армии я тебя могу посадить... много есть чего, и так на каждого из вас. И ты думаешь, тебя там ждут? Кому вы нужны?! А ты одумайся. Ты только позвони и скажи: "Эрнест Николаевич, я одумался". Я тебя не приглашаю нам помогать, у нас людей хватает. Только позвони и скажи, что передумал, и, может, жизнь-то совсем по-другому сложится... И в институте восстановим... И так с каждым. Последний раз по-хорошему советую.

Обо всем этом Левитас и рассказал Шлягеру еще вчера, едва они встретились.

— Я понимаю, что сажать они меня не собираются,— сказал Левитас после всего. — Но и не выпустят. И сидеть на месте

мне нельзя. Я должен убегать, они будут догонять,— вот правила игры, но не посадят. Я это понял...

Шлягер понял совсем другое. Посадить не посадят, но гарантий нет в том. А потому бегать и скрываться надо по-прежнему исправно и всерьез. Эту мысль свою он и объявил Левитасу, и посоветовал ему снова куда-нибудь уехать из Киева подальше.

— Лучше всего в Москву. Там с человеком что-либо сделать все ж труднее.

На следующий день Левитас уехал в столицу, а Моисей пошел подавать очередную жалобу в республиканский ОВИР. И теперь, сидя тут и размышляя над последними событиями, приходил он к очень неутешительным умозаключениям: "Значит, за каждым следят и крепко. Все знают, — вились неприятные мысли в голове у Шлягера. — И неспроста так Брюханов многословен, значит, будут жать..."

Моисей сидел и терпеливо выжидал своей очереди. Людей было много, но меж собой они почти не разговаривали. И неожиданно он увидел старушку, которую однажды уже видел в этой самой приемной. Сморкаясь в платочек, старушка бочком влезла в кабинет. С любопытством Моисей стал прислушиваться. В прошлый раз, когда он тут был, старушка просила за своего мужа, инвалида войны, который по неразумению уехал в Израиль. Просила разрешить ему вернуться.

Через тонкую перегородку отлично все было слышно.

— Он был ударником коммунистического труда, — меж тем долетал голосок старушки. — Разве нельзя один раз простить такого человека.

"Ай да бабка! Вот молодец! Теперь он стал ударником труда". Шлягер стал прислушиваться.

— Простить можно,— ответствовал ей голос начальника. — Но о чем он думал раньше? Знаете, сколько этих, что просятся обратно? Я что? Вот как народ его простит или нет — не знаю.

— Разрешите, товарищ начальник, ему вернуться. Он теперь понял многое...

— Не могу, объясняю вам, не могу. Не я его выгонял, сам уехал. Пусть еще подумает, да поживет на свободе ихней...

— Неужели никогда я его больше не увижу, — заголосила старуха. — Что ж так жестоко с ним поступают. Ну, ошибся, так он исправит вину. Простите его!

— Не жестоко, а справедливо. Так мы всегда поступали и будем поступать с предателями, — веско возразил ей снова голос начальника. — Кто раз оступился, тому больше доверия нет. Родина измен не прощает!

Заплаканная старушка, сморкаясь, вывалилась из двери кабинета и засеменила к выходу. Внутренне Моисей расхохотался. Психологическая выдумка какого-то кагебешника подействовала на сидевших в приемной евреев удручающе. "Интересно, — подумал он, — что она придумает в другой раз, эта гебешная старушка?" Очередь была длинная, и он пошел покурить. Когда вернулся, то увидел, что все в приемной внимательно, вытянув шеи, прислушиваются к происходящему в кабинете. Оттуда долетали громкие голоса, один принадлежал женщине, другой — начальнику.

— Я милицию сейчас вызову! — кричал начальник. — Ты у меня пятнадцать суток посидишь, сразу образумишься!

— Таких, как вы, надо на пятнадцать суток сажать, — кричала женщина. — Ни стыда, ни совести! Да знала бы, что такие есть на свете, куда хошь сбежала бы. Лучше в любой Израиль поехать, чем терпеть от вас издевательства!

— Не видать тебе Израиля!! — заорал и даже завизжал начальник.

Тут дверь с треском распахнулась, и увидел Шлягер здоровую, деревенского вида, молодую женщину, которую он уже видел много раз в разных ОВИРах, но был уверен, что едет та либо в Канаду, или в Австралию к родственникам. Зина вышла величественная, в пятнах гнева лицо. Миша тихо за ней вышел следом, догнал на лестнице. Окликнул:

— Простите, вы едете в Израиль? — вежливо спросил.

Зина окинула его взглядом и с вызовом ответила:

— Да, я еду в Израиль... А что?

— Да нет, я просто так спросил,— пояснил Моисей, с любо-

пытством на нее глядя. — Дело в том,— он замялся, — дело в том, что я тоже еду туда же, но как-то странно. — Он замолк.

— Странно, что нееврейка и едет в Израиль? — просто сказала Зина. — У меня муж там.

— Муж?! — подивился Моисей.

— Муж.

— И что, не выпускают?

— Какое там. Слышали, как орал. Не знаю, что делать. Если б хоть кто-нибудь подсказал, — вдруг заговорила она быстро-быстро. — Подсказал, как с этими сволочами бороться, где на них найти управу.

— Можно, я вас провожу? — спросил Шлягер. — Заодно и потолкуем. Здесь как-то не очень удобно разговаривать...

Так они познакомились. Он проводил ее до дому. Она показала, где живет, потом еще долго бродили по улицам и Зина говорила, говорила и не могла наговориться.

Ох, и обрадовалась Зина. Рассказала свою историю. Моисей помалкивал, все больше слушал, но потом, вдруг, поверил ей.

— Ладно, — сказал он на прощание. — Чего-нибудь придумаем.

И они расстались.

Зина ушла к себе, а Моисей отправился в дом напротив, в тот самый, где в подъезде распивали водку глухонемые. Были они там и сегодня. Но кроме них, возле стены, подпирая ее, стояли двое, явно к глухонемым отношения не имея. "Топтуны", — мелькнуло в голове у Шлягера, и про себя он усмехнулся. Небось, невесело им тут слушать дикий вой необработанных голосов. Мычание звериное, нечеловеческое, а что делать — служба. Стой и терпи. Ловко взбежал по ступеням на второй этаж и постучал в квартиру знакомого отказника-психиатра.

После того, как выпили и водочный хмель согрел душу, рассказал Шлягер про Зину. Психиатр выслушал и спросил:

— Слушай, а зачем она тебе сдалась? Что, нам своих забот не хватает?

Но потом махнул рукой и засмеялся:

— Эх! Каких только комбинаций советская жизнь не выстраивает! — воскликнул он. —Там еврей идет в ГБ и на своего сына доносит, а тут простая украинка, из села, требует визы по израильскому вызову, ха, ха, ха...

Внизу мычали глухонемые. Под их мычание психиатр рассказал несколько последних забавных историй. Про то, как один кагебешник свихнулся и у него началась мания преследования, а лечиться пришел к нему. Робкий такой, застенчивый. Здравствуйте, говорит, я к вам не по службе, как раньше, а как к врачу-психиатру пришел...

— Пусть она поедет в Москву и пожалуется в ЦК, — вдруг объявил он в конце. — Таких, как она, допустят вмиг. Народ! А власть, как известно, народная. Ну, и к сенаторам США обращеньице надо написать. Мужик ее в Америке, пусть за его жену заступятся.

На том и порешили. Уже прощаясь, психиатр тихо сказал:

— Авинаров исчез, кажется, арестовали. Сегодня слух дошел, что отправили в Грузию. Какой-то человек видел его в аэропорту, шел в сопровождении двоих и руки были под пиджаком. Потом он руки вскинул, а на них наручники. Прибежал этот человек и рассказал. Наручники, значит — арестован.

Когда Шлягер спустился по лестнице, глухонемые почти разошлись, и подъезд дома был пуст. Только двое топтунов по-прежнему подпирали стену. В сторону Шлягера они не смотрели, когда тот проходил мимо них.

* * *

Придумали. Зина поехала в Москву. Поезд стучал ритмично колесами на стыках рельс, подчеркивая движение, вперед, вперед... В глубоком кармане у нее хранилось написанное обращение к американским сенаторам. А в душе расцветала надежда. Теперь Зина была не одна. Последние остатки сомнений исчезли из ее души, и она настолько осмелела, что когда ее квартирная хозяйка к ней пристала с очередными жалобами на то, что она /Зина/ ее не уважает: "А я к тебе, как к родной дочери отношусь. Что ж ты мне, Зиночка, никогда не

расскажешь ничего, не поделишься. Я тебе не чужая", — с идишными интонациями липла к ней настойчивым голосом старуха, то Зина на все это коротко ей ответила:

— Да что вы, Эсфирь Моисеевна? Какая я вам дочь! У вас вон сын есть родной. Только что-то вы про него никогда не говорите. Не случилось ли с ним чего? Он у вас вроде большой начальник?

Упоминание о сыне разом старуху сбило, и она, поджав губы, замолчала и от Зины отошла.

"Боится сынок своей еврейской мамаши, небось, русским пишется", — думала Зина, бездумно глядя в проезжающий мимо пейзаж за окном вагона.

— Зинуля! — пропел рядом с ней голос. Зина повернулась и увидела даму с папироской. Пригляделась, да так и ахнула, узнав спекулянтку из туалета.

— Не признаешь? — дама заулыбалась, обнажая два золотых зуба. Лучики от металла тепло и мягко разбежались по сторонам. — Немного прибарахлилась для поездочки в столицу нашей родины. А ты, куда двинула?

— Да я тоже в Москву,— неохотно отозвалась Зина.

— Небось, за платками? — расхохоталась спекулянтка. — Слухай, я к тебе с вопросами не лезу. У каждого свое дело. Но ты, Зинуля, девушка с секретом, ты не простая, я нюхом чую... — тараторила она, а потом предложила пойти и немного выпить и закусить с ней. Зина пошла. Спекулянтка захмелела. И когда они вышли в коридор покурить, вдруг расчувствовалась и стала говорить про жизнь.

—Ты еще не знаешь этой жизни, Зиночка,—говорила она.— И хорошо, что не знаешь. Все это, что по радио говорится, для дураков. ...А на самом деле,— зашептала она,— власть эта, как в лагере власть паханов, и законы неписаные, блатные. Если знаешь эти законы — не пропадешь. Кому нужна твоя честность, порядочность? Загибайся за сто рублей в месяц с этой порядочностью. Вот у меня был один инженерик,— тут ее голос затуманился воспоминанием,— умный, но больно порядочный. Так его упекли на несколько лет в лагерь за эту самую порядочность. Хорошо, я людей нашла, помогли, кому

надо, дали, и там жил неплохо, и вышел быстро,— тут ее голос потух. — А мне сказал за все это, что я спекулянтка и блядь... А я его все равно очень любила. И он ко мне прибегал потом долго еще, пока не уехал.

— Куда ж он уехал? — непроизвольно вырвалось у Зины.

Спекулянтка глянула на нее остро:

— Известно куда,— протянула она. — Куда все бы мы уехали, на свободу, за рубеж... Он был каким-то, я и слова этого выговорить не могу, десидантом, которые, вроде, против власти выступают... Эх! Если бы мы с тобой были еврейками, прихватили бы по мужику — и в Израиль. Везет евреям,— добавила она и, погасив сигарету, предложила: — Пошли спать. Чего зря болтать пустое...

* * *

Москва встречала приезжающих песней. Радио в поезде надрывалось: "Утро красит нежным светом, стены древнего Кремля..." Потом раздался щелчок, и голос торжественно сообщил: "Граждане пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой... и, сделав паузу, заключил — Москва! — и снова заиграла музыка.

— Ты где остановишься? — поинтересовалась спекулянтка.

— Не знаю, — сказала просто Зина. — У меня прописки нет в паспорте. — Спекулянтка посмотрела на нее с интересом.

— Я тебе помогу, — объявила она. — Не имей сто друзей, а имей нужных людей. Беги в буфет, купи горилку с перчиком и торт "Киевский". Быстро! И молчок. Поедешь со мной и все устроится. Постой. В буфете не купишь. Надо было в Киеве думать.

— У меня есть,— сказала Зина. — Горилка, правда, одна.

— Эх ты, дура, надо было и торт купить. — Спекулянтка задумалась, потом вздохнула и заявила, — ладно, возьму тебя на свой торт, а горилку давай!

Зина достала горилку с перцем, бутыль. Торт она решила утаить для московских отказников, во что бы то ни стало. Был он у нее, был, но для другой цели рассчитала его неза-

мысловатая крестьянская хитрость. Потом поезд плавно затормозил и остановился. Они вышли на привокзальную площадь. Часы на башне Киевского вокзала показывали восемь, и люд московский разношерстно спешил в разных направлениях. Зина молча следовала за своей попутчицей. Вот они поехали по эскалатору, потом втиснулись в переполненный поезд метро, и с гулом, нарастающим по высоте, он понес их в темную неизвестность тоннеля.

Гостиница называлась "Золотой колос". Попутчица Зины о чем-то пошепталась с администратором-женщиной, потом подошла к Зине и объявила, что все устроено. Ловко переправила в руки администраторши бутылку и торт и, не успела Зина подивиться ее ловкости, как оказались они в четырехместном номере. В окно светило солнце. Постели были чисто застелены. А рядом со сверкающим чистотой и белизной унитазом был душ, Зина тут же включила воду и обнаружила присутствие горячей воды, от которой даже паром шибануло, так она была горяча. "Каждый день буду по нескольку раз купаться", — радостно решила она. Спекулянтка заглянула к ней:

—Что,радуешься водичке,Зинуля?— спросила она весело.— В Киеве небось угол снимаешь в какой-нибудь трущобе. А моешься в общественной баньке, ха, ха, ха...

В десять часов дня Зина отправилась разыскивать московских отказников, к которым были у нее письма и составленное вчерне обращение к сенаторам США.

* * *

Нет, недаром говорил Брюханов Кислику:

— Я же так могу сделать, что вы друг друга, как пауки в банке, сожрете. Сегодня одного изолирую, потом другого, друг на друга "накапаете". Не волнуйтесь, — все будет в порядке. Вот вы где у меня все, — и показывал сжатый кулак.

Насчет последнего сомнительно, но первое из того, что говорил знаток людей Брюханов, во многом подтверждала жизнь. Грызли, еще как грызли, друг друга отказники-активисты. Подозрения так и текли ядовитым ядом слов: Бунд ходит в КГБ, а разве туда ходят просто так? Пусть он честный, но ведь разговаривает, а когда человек разговаривает, он, хочешь, не хочешь, сведения дает... А за спиной шептали: "Вы там смотрите в Киеве, со Шлягером ухо надо держать востро..."

Зато другая группа не оставалась в долгу: "Листин, да он тихий идиот, ну а Баранский, так он известный стукач". Эх! Чего только не говорили. Страсти бурлили, страсти. У одних социал-демократические и их называли демократами, у других — национал-религиозные, про таких говорили, что они сионисты. Не надо заниматься просветительством, надо, чтоб как можно больше народа уехало! — говорили одни. Еврейское дело и свобода эмиграции неотделимы от общих свобод в России, диссиденты нас всегда поддерживали, мы должны их поддерживать, — говорили другие... И кто-то в КГБ потирал руки.

Бунд был демократом. Человек математического образования, он КГБ противопоставил организацию свою собственную, состоявшую из него и секретаря. Этого секретаря Зина и увидела, как только дверь после ее звонка открылась. На лице молоденького человека было написано неподдельное и непередаваемое по степени удивление. Молча он уставился на Зину. Та протянула ему письмо, спросив предварительно квартира ли это Бунда.

— Заходите,— нерешительно промямлил молодой человек, проглядев письмо.

Зина вошла и тут же стала выгружать на стол торт.

— Это что такое? — резко спросил вошедший в комнату Бунд.

— Это вам,— сказала Зина. — Из Киева все везут...

Бунд поморщился.

— А что везут из Москвы? — спросил он.

— Из Москвы,— начала Зина, но Бунд ее перебил:

— Ладно, будем чай пить,— объявил он, пробежав глазами письмо. — Расскажете нам свою историю. Чего только на све-

те не делается! — усмехнулся он... — Да вы садитесь, — сказал он, подобрев голосом,робевшей Зине.

— Сколько у вас книг, — сказала Зина, после того как уселась на краешек стула.

Бунд усмехнулся снова. В этот момент в дверь позвонили...

...Над текстом письма Зины сенаторам трудились многие и, наконец, письмо было составлено и его переслали в Америку. А Зине Бунд посоветовал пойти прямо в ЦК к Альберту Иванову и пожаловаться на начальство в киевском республиканском ОВИРе.

* * *

Вечером две молодухи, которые оказались с Зиной в номе¬ре /спекулянтка в тот вечер не появилась/ долго обсуждали достоинства московских магазинов, а потом перешли на евреев. Начали с того, что евреи засели везде на хлебных местах.

— Куда ни сунешься — еврей. Все захватили... — кричалг одна, а вторая тут и объявила:

— Да они ж всех ненавидят, не своих. Если б им силу дали, всех перевели бы.

— А так, что, не переводят? Детей травят.

В этом месте Зина, которая давно лежала в постели, не выдержала:

— Да бросьте вы болтать глупости. Кого это они травят?! — возмутилась она.

Бабы замолчали, уставились на нее, потом, видимо, убедившись в том, что она не еврейка, заявили ей:

— Еще как травят. К нам в село из органов приезжали и прямо так и говорили, мол, вы должны помочь. Вашего ребенка он вылечил, а других отравил.

— Кто такой? — поинтересовалась Зина.

— Доктор Штерн, не слыхала?! Из Винницы...

— Не, — встряла другая. — Его не за отравления, его за взятки судили...

— А я говорю за отравления, к нам приезжали. Мою родственницу вызывали в сельсовет...

Зина отвернулась к стене и пыталась заснуть.

— Так что ты их, евреев, не защищай,— обращалась к ней та, чью родственницу вызывали в сельсовет.

— Оставь ее, — говорила другая, — пусть спит.

Они еще долго, понизив голос, обсуждали еврейские проблемы...

— За что им такая привилегия? За границу?! —доносилось до Зины.

— И тут все захватили, теперь там хотят...

Под эти голоса Зина уснула, и снилась ей ее деревня и покойная мать, которая все манила и манила ее издалека, и Зина так хотела пойти, подбежать к ней, но что-то ей мешало, останавливало и от этого она во сне сильно мучилась...

* * *

Приемная ЦК, что на Старой площади в Москве, напоминает почту. Внизу стоит целый длинный ряд телефонов-автоматов, по которым любой человек страны может прямо позвонить высокому чиновнику и, если повезет, будет допущен к нему на беседу. Но не идет народ к своей власти. Толпятся тут в основном выжившие из ума бывшие партийцы, которые добиваются восстановления в партии. Их не уважают, не церемонятся и к личной беседе не допускают. Оставляют эти пожилые люди заявление в окошечке и оно тут же кладется в долгий русский ящик. Кто знает, быть может, эти заявления вообще никто и никогда не читает. Разные, впрочем, порой тут встречаются люди. Однажды приехал человек из Таджикистана с женой и пятью детьми, расположился в приемной и стал названивать по телефонам, требуя встречи. А дело у него было простое.

Жаловался он на соседа, который забором отторг у него метр земли... Но таких бывает мало.

Альберт Иванов был вальяжен, приветлив. Ласково пред-

ложил Зине садиться. Потом внимательно выслушал. А выслушав, сказал:

— Что ж, Зинаида, как вас по батюшке? Зинаида Петровна, ваше дело я понял. Хоть ты и не еврейской национальности, но едешь к мужу. А это любой жене положено. Разберемся,— пообещал он и пожелал ей всего доброго.

В гостиницу Зина не поехала. У нее за этот день было заплачено, а вещей там никаких она не оставила. Встретилась с Бундом, рассказала, как ее встретили и радостно сообщила:

— Может, теперь все будет хорошо?

Бунд скривился.

— Кто знает, — сказал он. — Вдруг и будет. Только на вдруг не надо рассчитывать в нашем деле, Зина. Но неприятности кой у кого в вашем Киеве будут, это точно. И то хорошо.

* * *

Зина Бунду не поверила. В тот же вечер она уехала в Киев окрыленная. А на следующий день пошла сразу по приезде в ОВИР. Как ни странно, видимо, звонок из Москвы был сделан сразу и в ОВИРе ее встретили любезно. Инспектор ОВИРа завела ее в комнату и сказала:

— Эх, Зина, Зина, что ж ты с жалобами разъезжаешь? Неужели нельзя по-хорошему тут все уладить? Да никакая Москва тебе не поможет, если мы не пожелаем, неужели ты не понимаешь... — А потом стала говорить задушевно, по-матерински. — Зачем тебе все это надо, вот что я в толк не возьму? Неужели ты не могла найти себе хорошего украинского парня, да не можешь, так мы тебе поможем. Что ты с этими евреями связалась...

И тут Зина ей сказала. Тихо и твердо, глядя прямо в глаза блондинистой инспектриссе:

— Наверно, вы никогда не любили. — И хотя Зина никуда не метила, удар попал в цель. Та оборвала речь. Вспыхнула, потом яркие красные пятна появились у нее на лице, проступили сквозь пудру... Хотела что-то сказать, но в горле пересохло, и оно отказало, из рта у нее вышел какой-то нечленораздельный звук... И тут же волна страшной злобы залила ей глаза.

— Ах вот ты как! — прошептала она наконец. — Ну, погоди, мы тебе покажем, как жаловаться... Вон! — заорала визгливо.

Зина поднялась и, величественно, не торопясь, не вышла, а прямо выплыла из кабинета. Когда прикрывала дверь, до ее слуха донеслись приглушенные рыдания из кабинета. Мстительная улыбка тронула Зинины губы.

Аркадий ЛЬВОВ

ИНСТРУКТАЖ В РИМЕ

Он сидел на столе, обе ноги лежали на спинке стула, подошвами к публике. Подошвы были плотные, литые, с литыми каблуками, которые когда-то, видимо, были кремовые, обычный цвет каучука, а теперь от долгой ходьбы потемнели и местами сделались совершенно черные. Джинсы задрались почти до колен, открылись коричневые, с потертостями ботинки, и теперь, среди римского лета, на виале Реджина Маргарита, эти ботинки вызывали недоумение — в хозяине что-то было от трарпера, от американского фермера, который наскоро переоделся для города, сменив все — штаны, рубашку, куртку, — а ботинки, чтобы сохранить привычную свободу передвижения, оставил.

Инструктаж был назначен на одиннадцать ноль-ноль. Он сказал, ноль-ноль по-русски может означать четверть, полчаса и даже час, но мы уже не русские, пора отвыкнуть. Начнем.

Он не успел начать, раздался стук, он попросил тех, кто поближе, открыть дверь, открыли, у порога сбилось человек пять-шесть, все кургузые, было впечатление, что одна семья;

сбросив одну ногу на пол, он стал методично притаптывать, молча, без единого слова, глядя на них, люди улыбались, кашляли в кулак, стоило начать одному, закашляли все, он сказал, прокашляйтесь, хорошо прокашляйтесь, спросил, закончили или нет, убедившись, что закончили, он сказал: "А теперь вон отсюда!" — и велел захлопнуть дверь.

"Вот, — сказал он, — образец русского свинства: надо явиться в одиннадцать, никаких других дел нет, деньги на автобус, на трамвай дали, а им плевать. Плевать на меня, на вас, на все на свете. Но вы думаете, они понимают, что это свинство — опоздать? Нет, они сейчас перемывают кости этому американскому подонку, Майку Слоуму, который погнал их к чертовой матери".

В общем он был прав — и то, что им наплевать, и то, что перемывают сейчас косточки, — но все-таки можно было спросить, почему люди опоздали, в конце концов, мало ли что бывает, а если ничего такого не было, пусть лишний раз покраснеют — тоже урок.

"Ваши глаза, — Майк опять положил ногу на спинку, — говорят, что вы не на моей стороне, я не хочу сказать, осуждаете,но не на моей стороне. А я поступил правильно, что погнал их вон: я думал не только о них, потому что другой раз, если не погнать их вон, вы тоже опоздаете. А теперь Вы имеете урок: не опаздывать. Этот урок — это ваш первый шаг в новую жизнь. Запомните: в Америке опоздать — это так же неприлично, как у вас в России испортить воздух в публичном месте. Не надо строить гримасы, я специально выбрал это сравнение, чтобы вы хорошо поняли меня.

Давайте договоримся с самого начала: будем откровенны и не будем притворяться. Мы вас хорошо знаем. Сначала у нас были иллюзии, была общая концепция: вы, русские, жили среди антисемитов, в антисемитской России, в вашей жизни не было дня, не было минуты, чтобы вам не давали чувствовать — ты пархатый, ты жид, ты маланец. И вы, бедные, мучались, стонали, но вынуждены были терпеть, потому что, когда двести шестьдесят миллионов в одну глотку орут: жид,

жидовская морда! — есть, от чего рехнуться. Но, слава Богу, вы не рехнулись, вы оказались крепче, чем многие здесь думали. Еще одна сказка — это сказка, что вы бедные, нищие и за душой у вас нет ни копейки. Америка — богатая страна, но в Америке деньги тоже не падают с неба. Мы собираем деньги, чтобы помочь вам. Деньги дают все — и богатые, и бедные. Среди бедняков, которые отрывают от себя последнюю копейку, чтобы помочь вам, есть такие, которые беднее вас. Вашу бедность мы сильно преувеличили: мы думали: вы едете голые и босые, давали вам деньги на рубаху, на штаны, на туфли. Но мы ошиблись. Мы поняли, что ошиблись, когда увидели вас на "Американо" — этом вонючем рынке, куда не только американец, а и порядочный итальянец не ступит ногой. Мы поняли, что ошиблись, когда сначала в Вене, а потом здесь, в Риме, вы стали соваться со своими сувенирами к нашим сотрудникам. Это правда — многие брали сувениры, брали не потому, что нуждались в них, а просто, чтобы не обидеть вас. Сначала сувениры были грошовые — ложки, матрешки — а потом пошли другие безделки: кораллы, янтарь, перстни, камни. Мы хотели спросить вас : зачем вы это делаете? Но мы не спросили: мы поняли — вы это делаете, потому что этому вас научила жизнь там, в России. Россия — страна взяточников, ваши деды и прадеды давали взятки писарю, давали приставу, давали градоначальнику, чтобы спасти свою лавку, спасти свою жизнь. У вас не было лавок, советская власть забрала лавки, но у вас было кое-что, этого мы не знали, а теперь знаем, что надо было спасать, и вы давали взятки. Взятка не всегда помогала, но взятка давала вам чувство силы, взятка была ваше оружие. Здесь давать некому и незачем, здесь не приставы и не полицмейстеры, но вы не чувствуете себя людьми, если не даете взятку. Вы привезли заразу, вы развращаете наших людей, и мы хотим, чтобы вы поняли: вы нам надоели, вы надоели нам так, что нет никаких слов. Другие вам не скажут это, а я скажу. Я знаю, многим не по себе, я знаю ваше русское выражение — правда глаза колет — и я буду колоть, и пусть вам будет больно, потому что это путь к здоровью."

Он убрал свои ноги со спинки, поставил их на сиденье, подвинулся ближе к центру стола — люди сидели напротив, полукругом, руки по-школярски держали на коленях, старики, тугие на слух, прикладывали ладони к уху и напряженно вслушивались, на лице было выражение муки, многие слова пропадали, иногда пропадали целые фразы, приходилось тщательно вглядываться в губы американца, чтобы по движению губ угадать слово, но губы двигались непривычно, американец говорил с акцентом. Оставалось одно: просить американца повторить слово, предложение; первый раз он сказал: о'кей, я повторю, но тут же предупредил: больше повторять не буду, вы не одни. Старики машинально, шепотом, повторяли русские слова, которые звучали непривычно, не по-русски, одобрительно кивали, когда внезапно, после повтора про себя, слова обретали смысл, и деревенели, когда, как ни напрягались, смысл пропадал и не было никакой возможности восстановить его. Окончательно потеряв нить, они обращались к соседям, но американец сделал замечание раз-другой, а потом прямо сказал, что за разговоры будет выгонять: придет время задавать вопросы — будут задавать, отвечает на вопросы только один человек — Майк Слоум. Раздались голоса, что мистер Слоум прав, но американец тут же одернул, ему не нужны ни да, ни нет. Здесь не выбирают, здесь слушают.

"Вступление в новую жизнь, в новую культуру,— сказал американец,— это не пустяк для тех, кто знает язык, это вдвойне не пустяк для тех, кто не знает языка. Но и те, кто знают язык, тоже фактически не знают его, потому что они учили мертвый, книжный язык, а здесь живой, напитанный кровью улицы, кровью толпы, язык. Надо уметь спросить, надо уметь попросить, извиниться, сказать спасибо — все это в Америке по-другому, не так, как в России. Русский говорит спасибо, и сразу видно, что благодарит раб, человек, который всю жизнь привык угодничать. Спасибо американца — это спасибо свободного человека, который привык уважать себя. Но от угодливости до хамства — один шаг, и русский раб, который только что десять раз кланялся, говоря свое спасибо, через минуту, если ему не угодили, на глазах делает свой

цирковой номер и обращается хамом. Цивилизованный человек — это прежде всего чувство меры. Вы евреи, люди старой культуры, но вы евреи из России — и у вас нет чувства меры. Вы евреи из России, вы больше русские, чем евреи. Евреями вас сделала пятая графа. Вычеркните пятую графу — и три четверти из вас кричали бы алиллуйя не в синагоге, а в церкви. Я вижу на некоторых лицах кривые улыбки, но я повторю свои слова еще тысячу, еще миллион, еще десять миллионов раз. Я знаю, что я прав, и вы знаете, что я прав. Мы вернем вам чувство собственного достоинства, и вы будете с гордостью говорить: я еврей. Ваши сыновья сделают обрезание, ваши сыновья наденут кипу, ваши дети пойдут в иешиву — и язык Моисея станет их языком: дети должны говорить на языке своих отцов, иначе это не дети, а байстрюки. Ваши дети были байстрюками в России, здесь они будут евреями в законе.

Вы предатели — вы предатели на все сто процентов. Вы обманули всех — и ОВИР, и Сохнут, и Москву, и Иерусалим: вы сказали, что едете в Израиль, а в Вене повернули задом к Сохнуту. Не будем обманывать себя и опять назовем это своим именем: предательство. Ваши братья держат на своих плечах великий Израиль. Израиль — это сегодня Энтеббе: наши враги трепещут, наши друзья ликуют. Друзья учатся у нас самоотверженности, враги учатся у нас дерзости. Позор нам, сегодня, под звездой Энтеббе снаряжать тех, у кого визы в Израиль, в Америку. Безмерно чувство нашего позора, но безмерна наша верность демократии. Кто не хочет петь гимн Израиля, пусть поет гимн США. Но грядет день — и голубая звезда Давида войдет в ваши сердца, а звезды и полосы будут лишь для тел ваших".

Он поднял правую ногу, поставил на стол, охватил руками, уткнулся подбородком в колено, с полминуты сидел молча, уставившись взглядом в тех, что сидели прямо напротив, потом перевел взгляд влево, вправо, стекла очков были очень толстые, глаза были крошечные, черные буравчики с голубым окружьем, достал из заднего кармана платок, громко высморкался, засунул платок в карман, вынул из другого

кармана несколько зеленых кредиток, хлопнул о ладонь и сказал: "Кусочек Америки, для вас — терра инкогнита, незнакомая земля. Я вижу, вы удивлены: почему терра инкогнита? Доллар есть доллар, на долларе сегодня держится мир. Доллар падает — падает мир, доллар поднимается — поднимается мир. За доллар можно все купить, за доллар можно все продать. Вы смеетесь, это хорошо, что вы смеетесь. Вы смеетесь потому, что говорите себе: он кретин, этот Майк Слоум, дай Бог нам побольше зеленых этих бумажек — и плевать нам на терра инкогнита. А Майк Слоум говорит вам: ошибаетесь! На зеленых этих бумажках история Америки: Вашингтон, Линкольн, Гамильтон, Джексон, Франклин! Кто они, эти люди, что говорят вам эти имена? Пустой звук для вас эти имена, потому что пустой звук для вас — независимость Америки, конституция Америки, державность Америки, демократия Америки! Вы приезжаете на готовое, Хиас сажает вас в самолет, Джойнт дает на кусок хлеба с маслом, Найана встречает у трапа самолета и ведет за руку до самой постели в гостинице. Вы говорите себе: так должно быть, мы это заслужили за свои страдания в России. А я говорю вам: ваши страдания ничто в сравнении со страданиями моей матери, моего отца, моего деда. Двадцать лет они скитались по миру, десять лет ютились в трущобах Нью-Йорка. Они выстрадали свою Америку, они добыли ее своим сердцем, своей кровью! Прежде чем получить, они дали. Прежде, чем дать, вы получаете,— вот разница. Но вам мало, вы ропщете: зачем бросили мы свой Египец, свою Московию, свою Одессу! Я вижу, эти слова не нравятся вам, вы хотите сказать "нет!", а я говорю "да!", мы больше не заблуждаемся, мы поняли вас, мы узнали вас. Вы наша кровь, наши родичи, и на правах братьев мы говорим вам: среди вас есть воры, жулики, бандиты, убийцы, — вы шалеете от свободы, вы давите людей на дорогах, вы обираете друг друга, вы устроили черную биржу в Остии, вы продаете мебель из квартир, которые сняли у итальянцев, вы тесните римлян на их собственных базарах и бросаетесь с ножами друг на друга. Не было

дня, чтобы полиция не завела на вас дела. И скажите спасибо великому долготерпению итальянцев — только они способны терпеть вас — другие давно выбросили бы вас вон, чтобы не смердело".

Произнеся это последнее слово — смердело, — он остановился, перевел взгляд слева направо, справа налево, помолчал немного, было впечатление, что он чего-то ждет, но люди сидели неподвижно, уставившись немигающими, широко открытыми, как у детей, глазами, когда каждое слово само по себе понятно, но не хватает какого-то одного, самого главного, слова, которое бы связало все эти слова воедино и придало им смысл — тот единственный смысл, ради которого они говорятся.

"Вы едете в Америку — не в Канаду, не в Австралию, не в Новую Зеландию. Вы едете в Америку, потому что ваши старики, ваши калеки, ваши дармоеды не нужны ни в Канаде, ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Вы это знаете, знаете не хуже меня. Но выбросьте из головы, что Америка — страна добрых идиотов. Вы будете работать, как никогда не работали там, у себя в России. В поте лица своего вы будете добывать кусок хлеба.

Я не говорю вам: одумайтесь. Поздно. Обратно дороги нет. Ваша Россия — больная страна, и многие из вас больны. И найдутся среди вас такие, которые захотят обратно и будут кричать на весь мир: нас обманули, проклятые сионисты ослепили нас. Отдайте нам наш родной СССР, нашу Москву, наш Киев, Ленинград, Одессу! Мы хотим домой — к родным своим Ваням, Степам, Федям! Вы смеетесь, но я не смеюсь: я уже видел, как смеялись здесь, и как кричали потом там, в Вашингтоне: ой, мамочка, хочу домой! И как кланялись, как ползали на коленях, как поливали грязью гнусных сионистов, которым нужно пушечное мясо для Израиля и белые негры для Америки".

Было жарко, он снял джинсовую куртку, бросил на стол, потом скатал валиком, положил себе под колени, несколько раз поерзал, наконец нашел оптимальную позицию, закатал

рукава рубашки, открылись волосатые, в мышечных буграх, короткие руки, с широкой, по-боксерски, крепкой, кистью, уставился в окно. На улице дзеленькал трамвай, чудовищно, без глушителей, тарахтели мотоциклетки, он засмеялся и сказал: вот вам Италия — много шуму из ничего! Ладно, тут же прервал он себя, Италия для нас — траттория, давайте ближе к дому.

"Итак, вы не знаете своего дома. Я говорю, не знаете, но это не значит, что у вас нет никакого представления о нем. Напротив, у вас есть представление: Америка — это ваш дядя, который приехал сюда сто лет назад, это ваша троюродная бабушка Этл, которая в первом своем браке была замужем за фетером Шлоймой, но с тех пор похоронила его и еще троих мужей, а теперь живет в какой-то роскошной богадельне, как царский дворец, и ждет не дождется любимых родственников, чтобы передать миллионы в родные руки.

Так вот, я вам говорю: выбросьте из головы все эти бредни. Если на сто родственников найдется один, который захочет посмотреть на вас, считайте, что вам повезло. Если же он скажет, что хочет помочь вам, не верьте своему счастью, пока, как говорят в Одессе, не зажмете свое счастье в обе жмени. Но даже если зажмете в обе жмени, не рассчитывайте на повторение и, главное, не рассказывайте другим — не создавайте иллюзий. Это — исключение, а в Америке живут по правилам.

Америка — страна сильных людей. Америка — не для слабонервных. Улыбка — оружие сильных. Улыбайтесь. Но помните, нужны зубы, крепкие, острые зубы. Зубы на каждый день.

Вы евреи. В Америке нет антисемитизма. Но в Америке есть антисемиты. Каждый третий американец не любит евреев. Вы не можете заставить его любить вас, но вы можете заставить его уважать вас. Заставьте.

Улыбайтесь, — он взмахнул руками, ладонями кверху, как дирижер, — вы не каменные: улыбайтесь! Вот так, больше, больше, еще больше! За окном — Италия, но здесь, в этой комнате — Америка".

Он растянул пальцами губы, получилось четкое, как на детском рисунке, полукружье, затем убрал пальцы, полукружье на мгновение зафиксировалось, однако тут же один угол опал, он напряг щеку, но недостаточно, полукружье вышло с перекосом, он провел пальцами по губам и сказал: это не улыбка, это парез, чем так улыбаться, лучше вообще закройте рот и повесьте замок. И снова взмахнул руками: улыбайтесь вот так, свободнее, черт возьми, свободнее!

Он задрал штанину, почесал ногу под коленом, опустил носок, белый, вязаный, с красными полосами поперек, поскреб щиколотку, с полминуты рассматривал лиловые следы расчесов, и внезапно, будто пробудившись из транса, воскликнул:

"Америка не любит привередливых. Америка любит простоту. В простоте — сила. Забудьте свои претензии. Доктор в России — это не доктор в Америке. Инженер в России — это не инженер в Америке. Беритесь за любую работу, работа принесет вам кусок хлеба, заработанный кусок хлеба даст вам чувство нужности. Без чувства нужности — вы никто. Нуль.

Ваши предки привезли с собой веру отцов. С этой верой они две тысячи лет скитались по миру: синагога, тора, сейдер, Йом-Кипур — они хранили их в душе своей,как мать носит под сердцем ребенка. Вы привезли с собой амбицию. Амбиция — ваш Бог. Каждый из вас требует за себя высшую цену, это мы знаем по опыту тех, что прибыли до вас. Каждый старается урвать, сколько можно, где можно, хотя сам не стоит ломаного гроша. Его посылают на фабрику — он кричит: я врач! Его посылают курьером — он кричит: я инженер! Его сажают шофером — он кричит: я режиссер! Амбиция ослепила его, помутила рассудок его: он был врачом, он был инженером, он был режиссером! Был! Вот этого — был! — он не понимает и не хочет понимать.

В Америке каждый стоит ровно столько, сколько он стоит. Никаких характеристик, никаких справок, никаких дипломов, никаких прошлых заслуг. За прошлое вы получили в прошлом, настоящее отрабатывайте в настоящем.

Не делайте кислое лицо, начинайте жить по-новому. Чем раньше — тем лучше. Мой дед Хаим Шлеймович приехал из Одессы. Он любил свою Одессу не меньше, чем вы свою. Он говорил: Одесса не возвращается. Когда бабка плакала, он говорил: старая мельница, где твои жернова, где твое зерно, где мука? А если нет муки, кому нужна вода из твоих глаз?

Я вижу, у некоторых слезы. Это не начало. Возьмите носовой платок и вытрите. Это не начало".

Люди проводили пальцами по глазам, вытирали о ладонь и говорили: это не слезы, это просто так.

"Нет, — сказал американец, — это не просто так, и давайте не будем притворяться. Вы, русские, слезливы, хотя от ваших слез нет никакой пользы. Как это у вас говорят? Москва слезам не верит. Люди плакали в войну. А вы плакали в войну, вы плакали в тридцать седьмом, в сорок восьмом, в пятьдесят третьем, вас убивали, вас расстреливали, вас морили голодом, а вы терпели и плакали. Нет на свете другой страны, где бы столько терзали человека. А вы плакали, и это был ваш ответ на муки, вы плакали тайком, украдкой, чтобы сосед не увидел ваши слезы, потому что плакать в России — тоже преступление. Вы рабы, вы египетские рабы, вы строили пирамиду, какой еще не знала история, вы строили коммунизм. Еще ни один камень ее не поднялся над землей, но миллионы камней, с именами и без имени, уже покоятся на могилах. Так я вас спрашиваю: о чем же вы плачете, о кладбище, где не нашлось для вас места?

Вам дали свободу. Ваша свобода стоит нам миллионы. Эти миллионы получило ваше правительство, которое продает вас, как скот, и торгуется за каждый грош, как цыган.

Вытрите же свои слезы, вы больше не рабы, вы свободные люди. Возьмите носовые платки и вытрите свои слезы".

Он снял очки, подул на них, вытянул из брюк полу рубахи, тщательно протер стекла, посмотрел на свет, еще раз протер, круговыми движениями, прижимая ткань большим пальцем; надел очки, заткнул рубаху за пояс и засмеялся:

о, как это говорят у вас по-русски, теперь я вас вижу, как свои пять пальцев! С места поправили, знаю, как свои пять пальцев. Он махнул рукой: это все равно, вижу, значит, знаю.

В комнате было душно. От вентилятора, из дальнего угла, волнами наплывал теплый, временами почти горячий, воздух. Проходя между человеческими телами, воздух напитывался их тяжкими запахами, настоянными на чесноке, луке, испарениях от потных, затянутых в кожу, в резину, в парусину женских и мужских ног, с непомерно широкими, в бесформенных подагрических выступах стопами. Внезапно примешивался к ним резкий, пронзительный, как от застиранных детских пеленок, запах мочи, женщины машинально, захватив щепотью, приподымали и опускали подолы платьев и юбок. Американец откинулся корпусом назад, оперся локтями, с силой, через нос, выдохнул воздух и сказал: "Мы сидим с вами в клоаке. Я вас не спрашиваю, чувствуете вы или не чувствуете, я говорю вам: мы сидим в клоаке. В Америке этого одного было бы достаточно, чтобы выгнать вас с работы. Человек, как и животное, устроен так, что от тела его исходит вонь. Но человек не животное. И то, что у вас в России было нормой, в Америке — непристойность, которая не прощается даже животному, потому что у животного должен быть хозяин, и этот хозяин — человек. А от человека вонять не может. Существо, от которого исходит вонь, не может быть ни объектом, ни субъектом уважения. Существо, от которого исходит вонь,— не человек. Американцы не воняют".

Он внезапно соскочил со стола, часы на площади пробили двенадцать, он сказал: "Все, наше время исчерпано. Я знаю, у вас есть вопросы. Я предвидел это. У своих ведущих вы получите брошюру об Америке. В этой брошюре вы найдете ответы на все или почти на все свои вопросы. Эту брошюру написал для вас я. Женщины найдут там специальный раздел для себя: менструация, гигиенические салфетки и дезодоранты. Счастливого вступления в новую жизнь. До свиданья".

После обеда Майка Слоума пригласил господин Фрид.

Господин Фрид, из главной конторы Хиаса, сказал: "Майк, я должен объяснять вам, что такое обратная связь? Половина ваших слушателей заявила: пусть нас режут ножом, мы не поедем в Америку — дайте нам Канаду, дайте нам Австралию, дайте Новую Зеландию".

Подонки, процедил Майк, на год они устроят себе курорт в Италии, три четверти получат отказ, а четверть скажет: мы передумали, мы не хотим в Новую Зеландию — мы хотим в Америку.

Майк, сказал господин Фрид, они говорили про вас в один голос: господин Слоум — американец еще от своего дедушки, он знает Америку, как свои пять пальцев. Мы не хотим в Америку. Нам страшно.

Животные, сказал Майк. Рабы.

CHALIDZE - PUBLICATIONS
505 Eight Avenue
NewYork, N.Y. 10018

Несколько лет назад в США на английском языке вышли нашумевшие мемуары Н. Хрущева, подлинность которых доказана экспертами.
Теперь, впервые по-русски выпущены
ВОСПОМИНАНИЯ НИКИТЫ ХРУЩЕВА
В книгу вошли наиболее ценные и исторически интересные части записей мемуаров. Вот заголовки некоторых глав:
Договор с Гитлером о начале войны; Варшавское восстание; Дело врачей; Смерть Сталина; О семье Сталина; О генерале Власове; Арест Берии; Карибский кризис.
В книге 300 страниц, цена - 12.00 долл.
Также в продаже: Уникальная
ИСТОРИЯ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ
/переиздание с книги 1906 года/, автор: известный русский публицист — **Н. ЕВРЕИНОВ**
В книге 234 страницы с многочисленными иллюстрациями, цена — 15. 00 долл.
КОРАН, 490 стр., 20.00 долл.

Пожалуйста, пришлите чек или мони-ордер с Вашим заказом.

Семен ЛИПКИН

ТУМАН В ГОРАХ

Кавказская быль

1

Щемящее, томительное чувство
Овладевает мною всякий раз,
Едва лишь удаляюсь от моря:
Не потому ли, что в моем сознаньи
Свобода с морем слиты навсегда,
А трудно удаляться от свободы?
День исчезает в поле, в хмурых балках,
Одетых слабым льдом, в кустах кизила,
И начинается подъем за темной
Бездействующей вышкой нефтяной.
Машина втянута в спираль дороги,
Кружась, мы едем вверх, и вместе с нами,
Под нами пропасть кружится, — то справа,
То слева. А вдали вершины гор
Стоят, как пастухи, слегка ссутулясь.

Порой в уступах скал мелькнет селенье,
И так как стекол мы не видим в окнах, —
Дома похожи на пустые соты,
Повисшие обломком восковым.
Мы чувствуем, что сесть боятся птицы
На телеграфный провод, что ключи
Своими журавлиными очами
С испугом озирают мост, лежащий
Над бездной, что ревущая река
С опаской некогда глядела вслед
Связистам и строителям дороги.

А между тем стемнело. Серой мглою
Наполнилось ущелье. Даже пропасть
Густою затянуло пеленой.
Включил водитель фары, но полоска
Беспомощно мятущегося света
Никак не может землю отыскать.
Вдруг два огня, как две звезды падучих,
Зажглись, потом замедлили паденье,
Безумным блеском просверлив туман.
Мотор замолк, мы вышли. Оказалось,
Что это свет машины отражался
У буйвола в глазах: теперь они
Смотрели равнодушно и покорно.
И так же равнодушно и покорно
Сошел с арбы, не торопясь, колхозник
В дырявой бурке и в бараньей шапке,
Огромной, словно сена черный стог.
Приблизясь к буйволу, он дернул повод,
Чтоб нам дорогу дать, и мы смутились,
Когда большое колесо арбы
Над бездною клубящейся взметнулось.
Потом остановился он, как будто
Хотел сказать нам слово.

Что прочли мы
На выцветшем, морщинистом лице,
В усах обвислых и в глазах недвижных?
Не то ли мы прочли, что нам нельзя
Так холодно и молча так расстаться,
Что дело не в его папахе черной
И сыромятной обуви, не в наших
Пальто из коверкота или в шляпах
Велюровых, что связаны мы кровным
И добрым братством, что среди тумана,
Окутавшего бездну и утесы,
На этом узком выступе земли,
Друг к другу мы должны тесней прижаться,
Как дети матери одной... Шофер,
Обидчивый и хитрый ярославец,
Был тоже чем-то пристыжен, казалось:
— Куда их черт несет, националов,
В такой туман! Погибнет магомет! —
И выругался...

И опять прорезан
Полоской света нашего туман,
И странно, что в подобной мгле всеобщей
Есть все-таки земля, и мы по ней
Вздымаемся в своей коробке тесной.
Но вот она рождается, — земля,
Та самая, что всюду, вечно с нами,
В начале жизни и в ее конце.
Еще неясны, бледны очертанья
И цвет ее, она еще не резко
Отделена от рыхлого тумана,
Но как она заворожила нас,
Хотя мы на нее глядим впервые!
И, может быть, у всех возникла мысль
О том, что где-то, далеко отсюда,
Томится чья-то мрачная душа

По этим скалам, с детства ей знакомым,
И согласится с радостью погибнуть
За то, чтоб здесь побыть один лишь день,
Одну лишь ночь пред гибелью своею.

Тогда-то и увидели мы чудо:
Над нами, над зигзагами дороги,
Над мокрыми альпийскими лугами,
Над пропастью, над рощей тополевой
Сиял аул, затерянный в горах.
Как ясно здесь, как величаво-тихо!
Дорога серебрится, как наждак,
И тем страшней для нас ее извивы,
Что стали явственны. Меж двух утесов
Блестит десятидневная луна,
И круг ее неполный как-то ближе,
Милее электрических огней.
Так много жизни в этом лунном свете,
Что даже русло высохшей реки
Нам кажется трепещущим, веселым.
Темнеют на дороге тополя,
Как будто поднимаются к святыне
Паломники в молчании глубоком,
Тяжелый путь оставив за собой.

Так неужели здесь вершина жизни?
Мы въедем на машине грязной, темной
В аул, как небо звездное горящий.
Для нас уже хозяин варит мясо,
Оно лежит в корытах деревянных,
Приправленное горным чесноком.
Бурдюк наполнен виноградной водкой,
Нас ждет хинкал с подливой на столе.

А поутру с угарной головою
Проснемся мы и выйдем подышать
Хрустальным воздухом на крышу сакли.

Внизу увидим улицы кривые.
На крышах — садики, а наверху —
Осеннее негреющее солнце.
Там высота уходит в высоту,
Там беспредельность льется в беспредельность,
Но там живут, и ярусы аулов
Бегут к вершинам, где пылает снег
Своей первоначальной белизной.
Но люди есть, я слышал, и над ними.
Вчера, изрядно выпив, наш хозяин,
Уполномоченный Заготскота,
Рассказывал: недавно, в октябре,
Была в горах охота на чеченца.

2

Над ним смеялась мать: хотело солнце,
Чтоб вырос он быстрей, и мальчугана
Оно тянуло за уши безбожно.
И впрямь — он стал большим, широкоплечим,
Но уши так уродливо торчали,
Особенно в те дни, когда носил
Он городскую кепку. Но и ныне,
Когда, как зверь, блуждает он в горах,
Худой, голодный, грязный, бородатый,
Когда, как зверь, неслышно он ступает,
Когда, как зверь, — на собственную лапу,
Он смотрит на винтовку без патронов, —
И ныне поразили бы наш взор
Вот эти оттопыренные уши,
Придавленные шапкой из овцы,
Но в эти уши, ставшие полезной
Приметою для розысков, — стучались
Все беды мира, все его дары:
И дудки чабанов высокогорных,
И шорох несмышленыша-ягненка,
И жуткое дыхание овчарки,

И тот гортанный голос родника,
Что так похож на материнский голос,
И еле уловимый шум травы
Под сапогом казенным...

Так три года
Он жил в пещере, инженер-нефтяник.
Не знаю, что он вспоминал: Москву,
Театры, общежитье на Стромынке,
Светлану — машинистку из Грознефти?
Угрюмым не был он. В глубоких, зорких
Не по-славянски голубых глазах
Луна блистала, солнце ликовало
И каждый день рождался мир: и реки,
И облака, и просыпался лес
Под ледниками вечными. Не знал он
И одиночества. В его душе
Звучали голоса друзей, соседей,
Родной семьи, и он со всеми вел
Горячую и долгую беседу.
В покорности тупой не попрекал их
И не хвалил себя. Он был не прочь
И девушку обнять и крепко выпить,
О, далеко не прочь! Когда он понял,
Что будет выселен его народ, —
Об этом слухи в городе ходили, —
Он сел на лошадь и поехал в горы,
Чтобы своим помочь и вместе быть.
Их ночью увезли, февральской ночью,
И рядом с инвалидами войны,
В трехтонках, на сиденьях из досок,
Среди механиков и звеньевых,
Сажали и беременных детьми,
Зачатыми на родине, теперь
У них отобранной.

А он остался.
А он остался. Разве думал он,
Что скроется, оружье раздобудет?
Со всеми собирался он уехать
И разделить великую тоску,
Но он остался. Кем же был он? Птицей,
Орлом, который создан, чтоб летать
В родных горах — и он в горах остался.
Не потому благоухает роза,
Что людям радость принести желает:
Она должна благоухать, чтоб жить.
А что такое жизнь для человека?
Быть человеком — значит быть свободным.
В его свободе сумрачной жила
Свобода нищих, угнанных, презренных.
Нет, одиноким не был он в горах,
Он был народом, он остался дома.

Его искали. Спецпереселенец,
Его далекий родич, был направлен
Из Казахстана, чтоб его сманить,
Но не нашел его и был посажен.
Чекист-чеченец, продолжавший службу,
Устроил на него в горах облаву,
Но безуспешно. Красноглазый тур
От скуки заглянул к нему в пещеру,
Но был убит и съеден. А в апреле,
Когда обвалы начались, а речка
Была сера от мусора весны,
К нему пришла знакомая, верней, —
Подружка, выросшая в доме брата, —
Иль это померещилось ему? —
Кавказская овчарка. — Барза, Барза! —
Обрадованно вскрикнул он, узнав
Жестокие глаза, теперь больные,
Большое, обессиленное тело,
Отрезанные уши, куцый хвост.

А впрочем, всем овчаркам отрезали
И хвост и уши, чтоб не рвали волки,
Когда на стадо нападут, — но так
Ему хотелось верить: это — Барза,
Приятельница брата-чабана.
Она была больна и умирала.
Не потому ли приползла к нему.
Чтоб возле человека умереть?
То жизнь, то жизнь сама явилась вдруг
К нему в пещеру: умирает близкий —
И это жизнь, а жизнь без близких — смерть.
Он рассуждал с ней о себе, о брате,
О ней самой — чеченскими словами,
Хотя неважно знал родной язык.
А ранним летом, закопав ее
Вблизи пещеры, он заплакал. Он
Заплакал в первый раз с тех пор, когда
Один остался, чтобы стать народом.
Так наступила осень.

Что же делать
Теперь, когда иссяк запас патронов?
Недавно полумертвого барашка
Нашел он у реки, но, может быть,
Барашек был из жалости подкинут
Каким-нибудь бесстрашным пастухом?

Ушли стада на зимние кутаны,
На берег моря. Опустели горы.
Уже на уровне утесов острых
Шел снег, как будто с белого орла
Валились перья, быстро исчезая
Во времени, в пространстве ледниковом.
Олень мелькнет на круче, — не догнать,
А тура не убить. Что делать дальше?
Пришла пора смириться?

3.

Он идет,
Куда — не знает, вниз идет, в ущелье,
А рядом, словно младшая сестренка,
Бежит, смеется звонкая река.
Он человек. Он старше этой речки
И снеговых утесов и лесов.
Их детской красоты не замечая,
Приметы человека ловит жадно:
Пастушескую сломаную палку
С крючком, кусок газеты непонятной
И то, в чем не нуждался так давно:
Блестящий гривеник. Внизу, в ущелье,
Уже чернеют каменные гнезда:
Жилье людей. Он слышит водопад.
Как шумные конвейерные ленты,
Сбегают с высоты потоки влаги,
Они в счастливой ярости дробят
Каменья, сотворенные природой
И человеком. Белое строенье
С проемами прямоугольных окон,
Украшенных орнаментом восточным,
Заброшено и поросло крапивой.
Моторы, как при бегстве, позабыты,
И бурая, как таволжника листья,
Их ржавчина покрыла: не нужна
Электростанция пустым аулам,
И алчно волей дышит водопад,
Как лагерник, отбывший срок...

А вот и наконец родной аул.
Дорожка, по которой шли горянки,
Подняв кувшины на плечи и сами
Похожие на стройные кувшины.
Правление артели "Красный горец".
Мечеть, что превратили в семилетку.

Кладбище с надписями по-арабски,
С шестами возле памятников: знак,
Что погребен лихой джигит, абрек.
Колхозный клуб. Обугленные печи
Для выпечки чуреков, где, бывало,
Судачили соседки о мужьях,
О детях. И дома, дома, дома,
Где люди жили, мучились, любили,
Где ели, пили, плакали, смеялись,
Молились богу, отрицали бога,
Доносы сочиняли, пели песни,
Работали, учились, узнавали,
Что мир велик, что кружится земля.

Казалось, все они сейчас на сходке,
Иль собрались на скачках за оврагом,
Сейчас они придут, и дым кизячный
Взойдет, и кукурузное тепло
По улицам горбатым разольется...
Нет, не придут. Лишь облако седое,
Как дед, вступает в дом, раскрытый настежь.

Он, постояв, помедлив, тоже входит
В родимый дом, родимый — и ужасный,
Живой — и мертвый, мертвый. Почему-то
Снята, прислонена к стене саманной
Покрытая арабской вязью дверь.
На ней — зарубки: это отмечали
Родители, насколько мальчик вырос.
Он помнит, звал его отец: — Ушастый,
Иди сюда! — и волосы густые
Он прижимал пастушеским ножом.

А дом построен прочно и недавно.
Одна лишь балка старая видна:
Отец извлек ее из сакли деда
И вбил под крышу, чтобы новый дом

Навеки сохранил о предках память.
Скамеек нет, но стол еще стоит.
На таганке — казан, покрытый жиром,
Застывшим вместе с ржавчиной. Еще
Не выцвела страница из тетрадки.
Прочел: "Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь". Учитель
Абубекир Алиевич, зеленым
Карандашом исправил "торжесвуя"
И вставил "т". И, может быть, в теплушке,
Битком набитой, долгими часами
Стоявшей посреди сухой пустыни,
Учитель слушал детский плач, проклятья
Старух и, мягко улыбаясь, думал
О нем и о его тетрадках глупых...

Сюда не захотели дагестанцы
Переселиться, на слезах соседей
Не захотели вырастить посевы,
И ничего не тронули...

И вдруг
Его так властно потянуло к людям,
К сердечному теплу, к словам, к проклятьям
И просто к очагу, и просто к дому,
И просто к хлебу после трудового
Большого дня.

И он спустился вниз.
Ползли ему навстречу змеи дыма,
Покуда не слились в сплошной туман.
Он долго шел, не трепеща впервые
Пред шумом собственных шагов и шумом
Невидимой реки. Чутьем, каким
Одни лишь горцы обладают, понял,
Что вышел на поляну. Услыхал
И различил во мгле овечье стадо.

Кругом валялись трупики животных.
Насытили кавказские овчарки
Свою жестокость: с миром примирившись,
Храпели у потухшего костра.
Два пастуха в косматых, черных шубах,
Спиной к нему, на корточках сидели,
Наверное, забылись, в полусне.
Они, как видно, к пастбищам приморским
Спустились поздно, их застиг в горах
Ночной туман. Изнемогало стадо
От голода. Он подошел поближе.
Царапали измученные овцы
Сырой и скудный прах, еще надеясь
Листок неотгоревший отыскать.
Их мордочки, их тоненькие ножки
Покрылись кровью. Блеяньем привычным
Вселяли веру матери в детей
И грызли землю.

Он подполз к отаре
И на руки ягненка взял. Как много
Нам, людям, говорит прикосновенье
К теплу трепещущему и живому,
К теплу другого существа! Какая
Была под мокрой шерстью сила жизни,
Как заставляла жить! Но где же сила
Что помогает умирать? Подумай:
Ты хочешь жить, в остервененьи диком
Царапаешь ты землю, — для чего?
Чтобы потом упитанность твою
Хвалил хозяин? Кто же твой хозяин?
Кто вдруг решил, что сила жизни — слабость,
Влекущая к позору и ярму?
А мы пренебрегаем смертью. В этом
И есть отличье силы от насилья,
Которое, бессильем рождено,
Всегда боится смерти.

И они,
Те, что сейчас, в своих черкесках рваных,
С тоской глядят на проходящий поезд
Средь азиатских, чуждых им песков,
Бессильные, казалось бы, — они
Воскреснут, как весна. И, как весна,
Они сюда вернутся, в эти горы,
С детишками, рожденными в изгнаньи,
И с букварем чеченским, утаенным
От глаз комендатуры.

Так, увидев,
Двух пастухов из племени чужого,
Желая и страшась беседы с ними,
Он узнавал в тумане очертанья
Иных вершин и далей, твердо зная,
Что хочет жить, что будет жить, что в нем
Заключено бессмертие людское,
Что он — народ.

1952 - 1953

Юрий ИОФЕ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ

(Из книги "Вне России")

Люде и Сене Поляковым, римлянам

Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках!

Александр Блок,
"Итальянские стихи" , 1909

I.

История дышит на ладан,
Недолго уже до конца.
Желтеет Луна над Миланом,
Как слепок слепого лица.

И что мне печалиться нынче,
Попавши в чужие края,
Что жизнь Леонардо да Винчи
Ушла, как уходит моя?
Милан, 30. 9. 79

* * *

2.

Крошатся горы, высыхают реки,
И расы вымирают без следа.
И, может, в самом недалеком веке
Погаснет Солнце, желтая звезда.

И мне не сокрушаться ни о чем бы,
А все б смотреть на этот странный свет.
Безумцы! Упраздните ваши бомбы:
Ведь мы и так, без них, идем на нет.

Милан, 1. 10. 79

3. НЕМНОЖКО О КОНЦЕ СВЕТА

Поглядел в окошко и плечми пожал:
Отпылал в пространстве мировой пожар.
И Господь сгребает, все, что Сам пожег,
Всю труху Вселенной — в Угольный мешок.

Души, что поганки, нашу плоть и кость,
Черные огарки отгоревших звезд,
Пепел всех столетий, пыль со всех дорог —
Все сметает в бездну справедливый Бог.

Милан, 1. 10. 79

4. СТИХИ О ДАНТЕ

За крепостной стеной вставало Солнце.
И Данте шел по городу Фиренце.
И Данте шел по Дантовому аду.
И шел кругом 14-й век.
И Данте шел 14-м веком.
Со всеми говорил по-итальянски,
Как эта продавщица сигарет,
Как полицейский там на перекрестке,
Что наблюдает за 20-м веком.

А я — из 20-го века.
Не в Дантовом — в нашем аду.

По краю потемок и света
Я в нети, как в сети, иду.
Пускай кувыркаются даты,
И время раззинуло зев.
А я и не вспомнил о Данте,
От траппы совсем окосев.

Флоренция, 2. 10. 79

5.PONTE VECCHIO *

На Ponte Vecchio
Гул и гвалт.
Потно, весело,
Полдень желт.
Все в несметной
Неистовой давке.
Медью, снедью
Торгуют лавки.
Туристы и прочие,
Накипь века.
А снизу — рабочие
Чинят реку.
/Реку Арно
Или Арно —
Мне это, право,
Все равно./
Выходит наружу,
Лоснится при свете
Осклизлая жижа
Зловонных столетий.

По Ponte Vecchio
Мне брести.

---

* Мост Веккио /во Флоренции/.

А рядом — некая
Лет шести.
Сидит, одинокая,
Лиры в горсти.
Сидит, одноногая,
Лет шести.
Стоит Бенвенуто,
Который Челлини,
Не видел, как-будто,
Чтоб реку чинили!
На Ponte Vecchio
Гул и гам.
Запах вечного
Тут и там.

Флоренция, 3. 10. 79

6. РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В ГАЛЕРЕЕ УФФИЧИ

Со всех сторон уставились они,
Совсем ослепнув от спесивой злобы.
Но, нет, со мной не справились они,
Не сладили, не потому что, чтобы...
Они уставились со всех сторон,
Глядят в меня, один другого злее.
Но что мне, право, мраморный Нерон?
Я видел Сталина на мавзолее.

Флоренция, 4. 10. 79

7. ЛУННАЯ НОЧЬ

Глядит Луна из-за угла,
Таясь за супермаркетом.
В проулках, в парках пухнет мгла,

И как-то странно пахнет мгла,
Ни августом, ни мартом.

И этот мир — не этот мир,
А мир, в котором нет квартир,
Где не настали сроки.
Где в пухлой плесени болот,
В протухлой зелени болот
Плодятся диплодоки.

Тот мир, в который я пришел,
Захлопнут плотно, как котел,
Таит свои богатства.
Над миром ночь. Над Римом ночь.
А ночью некому помочь
И некуда деваться.

Все это явь, все это сон,
И колокольни дальний звон,
И этот мир со всех сторон,
Все это волны транса.
И чувствуется связь времен
И кривизна пространства.

И на порядок всех вещей
Глядит Луна из-за хвощей,
И тварям нечто снится.
И сквозь магнитные поля,
Астральным золотом пыля,
Летит Земля, моя Земля,
Летучая гробница.

Рим, 5. 10. 79

8. РИМ

Я точно кур, попавший в ощип,
Турист, а может, пилигрим.
Хожу и пробую наощупь
И папский Рим, и царский Рим.

Я вижу мир необозримый,
Макет истории нагой.
И прорастают эти Римы
Один в другой, один в другой.

Я день и ночь по Риму шляюсь,
Качусь не хуже колеса.
И обо многом размышляю,
По Колизею колеся.

Глодаю глыбы и обломки,
Глотаю вековой настой.
И в катакомбные потемки
Спускаюсь лесенкой простой.

Мне все эпохи распахнулись,
Раскрылись тайны всех гробов.
Сквозь будний свист, сквозь вихри улиц
Я слышу гогот черепов.

И колу пью под сенью линий,
И пью садов зеленый дым.
Осенний день. И воздух синий.
И всюду Рим, повсюду Рим.

Все это — быль. Все это — небыль.
Все это - звон колоколов.
И уплывают в небо, в небо
Параболоиды куполов.

Рим, 8. 10. 79

9.

*** * ***

Горы, море — все в избытке.
Где-то осень, здесь — теплынь.
Неестественная синь,
Небеса, как на открытке.

А кругом, со всех сторон —
Апельсины и маслины,
Рев авто и зов ослиный,
Гул столетий, зыбь времен.

Я слоняюсь сонный, пьяный:
То ли Солнце, то ль вино.
А кругом — полным полно
Итальяно, итальяно.

Я не смыслю, что к чему
В этой жизни невезучей.
Лезу, лезу на Везувий,
Неизвестно почему.

Мета-ди-Сорренто, 14. 10. 79

10.

Я думал, лишь на карте
Есть этот островок.
Но вот — хожу по Капри,
Не покладая ног.
Отнюдь не кинокадры
Показывают мне:

Вокруг — и вправду Капри
В сгущенной тишине.
Я море пью по капле,
Я таю в облаках.

И Горький жил на Капри,
А не на Соловках.

о. Капри, 17. 10. 79

11.

*** * ***

Будет день светло-синий.
Всюду чинно и чисто.
Из свободной России
Приедут туристы.

Безо всякой оглядки,
Не стесняясь ни капли,
Побредут в беспорядке
По острову Капри.

И видавшие виды
— Ошалев от нагрузки —
Будут местные гиды
Изъясняться по-русски.

Не партийный ублюдок,
Окосевший от бреда, —
Просто русские люди
На Капри приедут.

о. *Капри, 17. 10. 79*

12. ОПТИМИЗМ

Солоноватый запах влаги,
Проулков пестрое гнилье.
Неаполь вывесил, как флаги,
Свое исподнее белье.

Сквозь повседневное мерцанье
Фигуры этого белья —
Как отрицанье отрицанья,
Как символ быта, бытия.

Наперекор прогнозам гиблым,
Всем потрясеньям вопреки
Наш мир достаточно незыблем,
Устойчивы материки.

Я в пыльном зное, в сонном гуле
От изумленья окосел.
И все иду сквозь улиц улей,
Вовсю подмигивая всем.

А в море — ни вчера, ни завтра,
А в море слиты все следы.
И скалы, как ихтиозавры,
Оскалясь, лезут из воды.

Неаполь, 18. 10. 79

13.

*** * ***

Жизнь моя, золотое безумие!
Очень странно, как в мире ином.
Поглядите: сижу на Везувии,
Запиваю спагетти вином.

А вокруг — ни травинки, ни кустика,
Точно тут не Земля, а Луна.
Ну, а крикнешь — такая акустика,
Что по швам затрещит тишина.

Где там думать о всякой законности,
Если гибелен огненный вздох!
А лиловые тени на конусе —
Словно пятна от прошлых эпох.

И такое кругом скалозубие,
Что смешны человечьи права.
Я курю, прикурив у Везувия.
Все ему, как и мне, трын-трава.

Везувий—Геркуланум, 19. 10. 79

14. SIC TRANSIT…

Мои глаза — полным-полны,
Шагаю левой—правою.
Гляжу на римские холмы,
Опохмеляюсь граппою.

Чем поразмыслить о веках,
Sic transit, об истории,
Дивлюсь с бутылкою в руках,
Чего тут понастроили.

Мне б вникнуть в суть вот в эту всю,
Назвать бы все по имени.
А я бутылочку сосу,
Давайте, трахнем, римляне!

Sic transit, слава, мол, как дым…
Осталось чуть на донышке.

Вокруг меня — и вправду Рим,
Ведь Рим, а не Черемушки!

Эх, описать бы Колизей,
Изречь бы что гекзаметром!
А я, московский ротозей,
Валяюсь, пьяный, замертво.

И нет пути, и не пройти,
Не выбраться из города.
А кстати — мать его ети! —
Рим — это вправду здорово!

Рим, 21. 10. 79

Пия ВЛАДИМИРОВА

ПОД ЛИВЕНЬ СЛЕЗ И ПУТАНИЦУ ФРАЗ

Н. Н.

Игрунья ты и дочка полутени,
Из воздуха, из воска и огня
Ты лепишь явь, которая на сцене
Живей, чем явь сегодняшнего дня.

Ты — девочка, колдунья и растрава.
Блеснешь, скользнешь — и прочь, мороча нас.
Все прочь и прочь, с открытостью лукавой,
Под ливень слез и путаницу фраз.

Всегда свободе случая послушна,
Ты тянешься, собой опьянена,
Из этих будней, суетных и скучных,
Где слишком мало выпито вина.

А гости договаривают тосты.
А ты... а ты — вся в завтрашнем. Как знать!
Ты, может быть, ждешь будущего — просто,
Чтоб исстари любить и проклинать.

Ты — прозелень, задоринка и зорька.
И, весело поднявши свой стакан,
Ты пьешь за тех, кто преданно и горько
Вот в эту ночь с тобою вместе пьян.

* * *

И вновь, сокрушительно-ново,
Грозою и солнцем дразня,
Сливается свежее слово
С весенним волнением дня.

Живою водою омытый,
Взошел надо мною Восток.
Из пальмы, жарою прибитой,
Закапал березовый сок.

И под виноградной лозою —
Вдруг луг, сараюшки, плетни.
И хлынули с первой грозою
Весенние гулкие дни.

Так небо в прорывах высоко,
Так явственно дышут поля!
И где-то совсем недалеко
Веселого детства земля.

* * *

Все дождит. На окнах грязь.
Голос женщины суровой.
Ах, обидней — отродясь
Я не слыхивала слова!

Все дождит, дождит, дождит.
Сени, дворик — все сырое.

В доме девочка сидит,
Не гуляет с детворою.

Принимаю с прошлым связь,
С домом, с голосом суровым.
Мне бы волю, рассердясь —
Я плетусь с повинной снова.

* * *

Чище волн генисаретских,
Неба синего вольней
Мир, явившийся из детских,
Нестерпимо дальних дней.

Как он, мастер утомленный,
Синью воздух пронизал?
"Здесь уместней цвет зеленый", —
Критик вежливо сказал.

Но, светлей генисаретских
Волн и воздуха вольней,
Мир, явившийся из детских,
Нестерпимо синих дней.

* * *

И на краю воспоминанья
/Мне поделом!/
Березы темное мерцанье
Перед столом.

Мой август с горькими глазами —
В них нежность, злость —
Кропит осенними слезами
Рябины гроздь.

Пока ты рукопись листаешь,
Я подожду.
Как строчку, ты меня читаешь:
К тебе иду.

К тебе, в твой день под образами,
В час забытья...
Горит осенними слезами
Душа моя.

* * *

И пусть глаза ненастье застит:
Опять в потемках грозовых
Сияет луч, и я во власти
Неясных замыслов Твоих.

"Я мыслю — значит, существую".
А сердце — прочь, а сердце — за
Черту, где вижу наяву я
Свои весенние глаза.

И я поверю, вспоминая
Твой взгляд ответный в ранний час,
Что есть она, душа иная,
Еще тоскующая в нас!

* * *

Где я? Память упряма.
Стужа, оттепель, дождь?
Дух ли, горький и пряный,
Апельсиновых рощ?

Здравствуй!.. Здравствуйте!.. Где я?
Тянет зноем, снежком?..

И душа молодеет
И поет под хмельком.

Знать, не допита чаша.
Что там, снежный пустырь?
Что там, розовых пашен
Галилейская ширь?

Мысль моя, в самом деле
Утоли, просветли!
Запах меда, и прели,
И апрельской земли.

Я боюсь умиленья
Слез стыжусь, на беду,
И весны наступленья
С тайной горечью жду.

А меня раскаленный! —
Стылый! — воздух пьянит.
Кто-нибудь удивленно
Мне меня объяснит.

* * *

Сестре Жене

Я с памятью раздоры завожу,
А то нет-нет придумаю иное:
Я по полю широкому брожу,
По пыльному, по розовому зною.

А то— в полуразрушенный дворец,
В пятнадцать лет, за осенью кленовой.
Мне сорок. Я смолкаю, наконец.
Я больше не срываюсь с полуслова.

Я тропками замшелыми кружу,
Где легкий пламень вянет под ногами.
А ландыш твой я в Книгу положу,
В ту явь, что приоткрылась перед нами.

1979

КОТ

Два полумесяца плывут из коридора,
И зелены и дики, словно зрели
В неведомой глубокой темноте...

К коленям приучен, к куску котлеты,
Ложится на пол спать по-человечьи,
Раскинувшись незащинно; но зрачки —
Два полумесяца — всю правду знают
О дикой и свободной жизни. Их
Манит пространство; их мгновенна ярость,
Но настороженность их вкрадчивая вечно
Стоит на дне, как вещая тревога,
Что притаилась в чутких, зорких чащах,
В одном из древних царств, где борются за жизнь
С бессонной бдительностью, с подозреньем.
Так зверь ночной идет по коридору
С сомнамбулическими зоркими глазами.
Вот-вот подскочит, ласти́ться начнет,
Иль под столом затеет пир домашний,
Пропахший запахом картофельного супа;
Но вот он обернулся: погляди,
Обманный свет течет из этих глаз...

Два полумесяца плывут из коридора,
Два полумесяца ночных, что зрели
В неведомой глубокой темноте.

* * *

О. М.

Ну, а мне не поет Лорелея,
И не я удаляюсь, не я
В золотистые своды аллеи.
Где теплее ладони скамья.

Где от позднего солнца пьянея.
Наливается соком листва.
Где румянясь и тяжелея,
Пахнут яблоками слова.

Там прошел, оступаясь в смущеньи.
Нацепив блики света на трость.
Как ребенок, творя превращенья.
Тот, всему удивлявшийся гость.

1970

* * *

На эти жалобы глухие
Мне дай какой-нибудь ответ!
Смотри, глаза мои — сухие:
Их жесток цвет, в них света нет.

Да, ныне сух мой взгляд... И жженье
В груди и в горле. Ночь душна.
В неутолимом раздраженье
Всю ночь ворочаюсь без сна.

А было: небо, море, травы
И чувство, будто бы Тобой
В моих глазах зажжен по праву
Весь мир, зелено-голубой.

ВСПОМИНАЯ О ДОН-КИХОТЕ

Я думаю о многом, о тревожном,
Но мыслей я никак не соберу,
И мне порой представить слишком сложно:
Что правду означает, что — игру?

Довериться бумаге и перу?
Стать сдержанной и скорбно-осторожной?
Быть может, сны мои не ко двору,
И вымыслы, и слезы. Все возможно!

Я с ветряными мельницами бьюсь.
Боюсь, еще минута — задохнусь.
Томлюсь. Но в час, когда мой разум вянет,

Предшественник великий в тихом сне
Вдруг явится и в чистой тишине
На память, с дружбой руку мне протянет.

* * *

А вслед за днями индевелыми
Такая брыжжет синева!
И память черными пробелами
И горькой свежестью жива.

Я, медленная, безъязычная.
Расковываюсь — что со мной? —
Пред будничною, необычною,
Победно-бедною весной.

И чувства просят выражения,
А мысль то бодрствует, то спит;
И белый день в воображении
Слепит до слез, до слез слепит...

1979

-ФИЛОСОФИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ

Исайя БЕРЛИН

ЧТО ПРИНЕС НАМ ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Политические воззрения нашего времени

Два политических течения господствовали над умами в XIX веке — либеральный индивидуализм и романтический национализм. Каковы бы ни были различия между ними, они заключают в себе нечто общее — их лидеры верили, что все проблемы могут быть разрешены, если силы добра и разума победят невежество и зло. Разумеется, различные школы давали различные ответы на "проклятый" вопрос, — романтики, демократы, консерваторы, христиане, социалисты, пангерманцы, славянофилы — каждое из этих течений имело свой ответ.

Либералы верили в безграничную силу воспитания. Социалисты полагали, что без радикальных перемен в экономическом строе не помогут изменения в умах и сердцах людей. Свою точку зрения имели и иррационалисты — Штирнер, Кьеркегор, и в какой-то степени Карлейль, но в основном все, даже кальвинисты, соглашались с тем, что человек представляет собой существо доброе по своей природе, хоть и доведенное до прострации из-за устарелых и извращенных учреждений, выступающих якобы со спасительной миссией.

Два течения, о которых шла речь, доведенные впоследствии до своего логического конца и даже до извращенности, выступили в виде коммунизма и фашизма — первый как наследник либерального интернационализма, второй как кульминация и одновременно банкротство метафизического патриотизма. И все же будет ошибкой рассматривать фашизм и коммунизм лишь как насильственные формы уже известных в прошлом течений. Различие между политическими движениями XX и XIX веков слишком велики, чтобы так думать.

В XX веке новое значение приписывалось влиянию бессознательного и иррационального на разум. Согласно этому взгляду ответы на трудные проблемы надо искать не в рациональном решении, а в устроении самих проблем с применением мер, не имеющих отношения к разуму.

2.

Язык либерализма у Кондорсэ или Гельвеция мало чем отличается от языка Вильсона или Массарика. Либерализм почти не изменился в течение трехсот лет, базируясь на относительно простом интеллектуальном основании, установленном Локком или даже Спинозой и уходящем своими истоками к Эразму и Монтеню, итальянскому Ренессансу, Сенеке и грекам.

В этом движении есть рациональный ответ на всякий вопрос, и в силу его рациональности оно заключает в себе гармоническую систему, в которой решающую роль играют правда, свобода, счастье и безграничные возможности развития.

Результатом развития либерализма был рост политического представительства — к власти начали приходить массы, уровень жизни которых неизменно рос. Но одним из непредвиденных последствий этого процесса было падение моральной силы и энтузиазма либерализма, характерных для общественной борьбы прошлых героических эпох. Нет людей, вкусивших плод власти, которые оказались бы совершенно свободными от цинизма. Как химическая реакция, цинизм рождается в результате соприкосновения чистого идеала с действительностью, и только в редких случаях осуществление идеала

отвечает надеждам предыдущих поколений. Таким образом пришло время, когда либералы сами начали ощущать необходимость приспособить общественную жизнь к велениям эпохи, согласившись даже на известный контроль со стороны ненавистного государства. Они пошли на это для того, чтобы ослабить бесчеловечность ничем не ограниченной частной инициативы , защитить интересы слабых и обеспечить те основные человеческие права, без которых нет счастья, справедливости и свободы.

3.

Социалисты, подобно консерваторам, верили в жесткие законы истории и так же, как консерваторы, обвиняли либералов в неисторическом подходе к этим законам, но в то же время, подобно либералам, они были преисполнены веры в значение рационального анализа. Несмотря на то, что некоторые из них были настоящими революционерами, в большинстве своем они, как и те, на которых они нападали, придерживались мнения, что к людям надо обращаться, основываясь на их потребностях, интересах и идеалах.

Консерваторы, либералы, радикалы и социалисты расходились почти во всем. Они, в частности, расходились в оценке потребностей, интересов и идеалов людей. Но все они были согласны в том, что болезни эпохи можно излечить, если люди будут едины в понимании правды.

Марксисты подвергали это сомнению, однако лишь теоретически, — практически они не отвергали многое из того, что отстаивали либералы. В частности, либералы утверждали, что если цели не достигнуты, а средства ограничены, то не остается ничего другого, как использовать в нужном направлении всю моральную и интеллектуальную энергию общества. Именно это положение не оспаривалось марксизмом.

Эта система так называемых "общих предпосылок" /которые иногда еще именуют "просвещенчество"/ была рациональна в полном смысле слова, и, может быть, поэтому она отвергалась романтической школой, а также Карлейлем, Достоевским, Бодлером, Шопенгауэром, Ницше. Тогда же

появились и еще более "туманные" пророки — Бюхнер, Кьеркегор, Леонтьев — которые выступили против предложенной либералами системы, причем, выступили с такой самобытностью и глубиной, которые были поняты лишь в наши дни. Нельзя сказать, что эти мыслители представляли собой единое движение или даже выражали одну тенденцию, но взятые все вместе, они оказались мировоззренчески очень близкими друг другу. Все они отрицали политическую деятельность, основанную на рациональных мотивах, и в этом смысле вызывали презрение даже со стороны респектабельного консерватизма. Они утверждали, что рационализм по самому своему существу ошибочен и происходит из неверного анализа человеческих страстей — мотивация человеческих действий, по их мнению, кроется в совершенно иной сфере. Впрочем, их голосам не придавалось значения; либералы отдавали должное их художественному таланту, но отвергали их воззрение. Консерваторы рассматривали их как союзников против чрезмерного увлечения рационализмом, но в то же время относились к ним как к лжепророкам, которых следует избегать. Социалисты видели в них помешавшихся реакционеров, которые недостойны даже критики.

4.

Следует отметить, что и в марксизме можно было обнаружить определенную, хотя и несколько туманную рациональную систему, но она с самого начала исключала главенствующую роль разума в выборе целей и восстановлении эффективного правопорядка. Однако достойный подражания культ естественных наук в сфере политики /и марксизм, и либерализм сходились в этом/ так и остался малоизвестным элементом марксизма. И так продолжалось до тех пор, пока не пришел Сорель и не соединил его с антирационализмом Бергсона, и пока не пришел Ленин /выросший на почве других традиций/ со своим гениальным организаторским даром и полуинстинктивно не вскрыл глубокое проникновение элемента естественных наук в иррациональную систе-

му стимулов человеческой деятельности. По-видимому, Ленин и его сторонники не отдавали себе отчета в том, какое влияние оказали естественные науки на романтический в своей основе марксизм и на всю их деятельность. А если они и отдавали себе в этом отчет, то не признавали и по сей день не признают этого влияния.

Таково было положение вещей к началу XX века. Редко бывает так, чтобы границы хронологии совпадали с границами политической истории. Поначалу казалось, что общественные течения прошлого столетия спокойно движутся к рубежам нового века. Но очень скоро картина начала меняться. Гуманитарный либерализм, пытаясь осуществить свои реформы, стал наталкиваться на все большие препятствия и все больше стал обращаться к массам. Изменения эволюционной и фабианской тактики в направлении коммунизма и синдикализма, а также более умеренной социал-демократии и профессиональных союзов, — это не столько история принципов, сколько результат появления на исторической арене новых материальных факторов. Марксизм только с первого взгляда кажется более крайним, чем либеральный реформизм,— в действительности же, обоим им присуще стремление к цельности человека, к созданию гармонического общества, к неразрывности свободы и справедливости. Марксизм представляет собой, правда, школу, которая подчеркивает классовую обусловленность человеческого сознания, но и он обращается к разуму, поскольку речь, по крайней мере, идет о пролетариате, которому он предрекает историческую победу. Это в равной степени относится и к тем интеллектуалам, которые, освободившись от буржуазного "ложного сознания", переходят в ряды побеждающего класса. Тем же, чем были философы Просвещения для энциклопедистов, стали теперь либеральные интеллектуалы для марксизма: они видели свою миссию в том, чтобы помочь людям открыть в себе свободный человеческий разум.

5.

В 1903 году произошло событие, которое означало кульминацию процесса, изменившего историю нашего мира. На съезде Российской социал-демократической рабочей партии, который открылся в Брюсселе и закончился в Лондоне, во время обсуждения вопроса, казавшегося чисто техническим /в какой степени централизм и дисциплина должны определять поведение партии/, один из делегатов, Посадовский /Мандельберг/ задал каверзный вопрос: Не противоречит ли необходимость абсолютной власти революционного ядра партии /за что ратовали Ленин и его товарищи/ тем свободам, которые социалисты, как и либералы, неизменно поднимают на щит? Он спросил, не создается ли опасность для свободы личности, если такое решение примут вожди партии! Ему ответил Плеханов, основоположник русского марксизма, человек широких горизонтов, культурный и всесторонне образованный, чувствительный к моральной точке зрения, тот самый Плеханов, который жил десятки лет на Западе и пользовался всеобщим уважением среди западных социалистов, человек, бывший "символом" научной мысли в среде русских революционеров. Так вот, Плеханов, в своем торжественном ответе употребил слова — Salus revolutiae suprema lex.*

Если этого потребует благо революции, надо пожертвовать всем: демократией, свободой, правами личности — все во имя революции. Если Учредительное собрание, избранное на-

---

* Автор не совсем точно воспроизводит то, что произошло на съезде. Согласно протоколу съезда, Посадовский /Мандельберг/ сказал следующее: " Между нами нет согласия в отношении основного вопроса — следует ли нам подчинить нашу политику демократическому принципу, признавая его абсолютной ценностью, или, наоборот, все демократические принципы в целом должны быть подчинены неотложным требованиям нашей партии. Я придерживаюсь второй точки зрения. Нет демократических принципов, которые не должны быть подчинены нуждам партии /восклицание: "И неприкосновенность личности"/ Да! И неприкосновенность личности. Как партия революционная, стремящаяся к своей конечной цели — социальной революции — мы исключительно с точки зрения осуществления этой цели, с точки зрения выгоды нашей партии должны относиться к демократическим принципам". */Ред./*

родом, подчинится марксистской тактике, то оно будет функционировать как парламент, если же нет — оно будет распущено. Невозможно осуществить марксистскую революцию руками людей, которые связаны своей совестью с принципами буржуазного либерализма.

Позднее Плеханов, выросший на традициях гуманизма и либерализма, отказался от этой позиции. Смесь утопической веры и жестокого пренебрежения моралью, неприемлемого для культурных людей, оказалась в конце концов отвратительной в глазах человека, который провел большую часть своей жизни среди рабочего класса и его вождей на Западе. И как подавляющее большинство социал-демократов, как сами Маркс и Энгельс, он, Плеханов, был слишком западным для того, чтобы попытаться осуществить политику, которая по словам Шигалева из "Бесов" Достоевского представляла собой вначале дорогу к неограниченным выборам, а в конце — неограниченный деспотизм.

6.

Ленин, со своей стороны, принял с легким сердцем и без всякого угрызения совести провозглашенный на II съезде РСДРП принцип. Возможно, что, в известном смысле, его отправные пункты были те же, что и у рационалистов-оптимистов 18—19 веков принуждение, насилие, расстрелы, власть незначительного меньшинства — все это необходимо лишь на переходный период, пока налицо сильный враг, которого надо уничтожить. Все это нужно для того, чтобы большая часть человечества, освободившись от эксплуатации кучки проходимцев, могла развиваться, не сдерживаемая невежеством, безработицей и взяточничеством. Очень возможно, что у этой мечты было что-то общее с мечтой Дидро, или Сен-Симона, или Кропоткина, но Ленин и его последователи внесли в этот принцип новый элемент, который касался способа перевести эту мечту на язык действительности. А они, эти средства, шли от Бабефа, Бланки, Ткачева, или от участников Парижской коммуны, или даже из произведений самого Маркса, написанных в период 1847—1851 годов. Так или иначе, эти воззрения, воспринятые Лениным, отметили рождение новой эпохи.

Ленин требовал, чтобы неограниченная власть была передана в руки небольшой группе профессиональных революционеров, ставящих перед собой одну цель и стремящихся к ней всеми средствами. С его точки зрения это было необходимо, потому что попытки убедить людей оказались неэффективными, а это, в свою очередь, произошло из-за ложной предпосылки, что люди действуют на осознанной основе, которую можно изменить силой аргументов.

Маркс исходил из того, что идеалы представляют собой только "отражение" состояния классов, и человеческие воззрения определяются их положением, и сознание невозможно изменить, если не изменить объективное положение класса.

Ленин пошел дальше. Он действовал, исходя из того, что логическая дискуссия бессмысленна не только с людьми, классовый интерес которых противоречит его проповедям, но и что сами трудящиеся настолько невежественны, что не в состоянии понять миссию, уготовленную им историей. Ленин должен был сделать выбор: или пробуждение критического духа в среде угнетенных, или превращение их в послушную армию, которой внушают ряд истин, подавляя этим самостоятельную мысль. Люди слишком часто шли за решениями иррациональными, массы слишком слепы и глупы, чтобы дать им возможность идти по избранному ими пути. Толстой и народники ошибались: простой мужик не владеет подлинными истинами. И он, и городской рабочий, и солдат, — все они находятся в состоянии нищеты, и господствующий режим опутывает их ложью. Для того, чтобы освободиться, они должны пойти вслед за вождями, знающими, как надо действовать рационально во имя их же интересов.

В известном смысле Ленин был поразительным утопистом. Вначале он придерживался мысли, что при посредстве воспитания и рационального экономического устройства можно заставить почти каждого человека выполнять свою задачу. Однако в делах своих он, подобно иррациональным реакци-

онерам, исходил из того, что человек глуп, зол и легко возбудим к беспорядкам, и поэтому нуждается в руководстве. Вопреки всем своим ошибкам, с точки зрения Ленина, был прав Гоббс, а не Локк: люди ищут не счастья, не свободы, не справедливости, а прежде всего — обеспеченности. И Аристотель был прав: массы людей — это рабы по своей природе, и когда их освобождают, то оказывается, что они лишены интеллектуальных и моральных стимулов, необходимых для того, чтобы стать перед лицом возлагаемой на них ответственности. Нужно, следовательно, создать новую систему политических учреждений, догм и мифов, идеалов и ценностей, с помощью которых возможно привести людей к организованному действию и выполнению задач Гоббсовского государства.

Какова та правильная жизнь, которой должен жить человек и как можно к ней прийти?Есть ли Бог и можно ли обнаружить его намерения? Космос и жизнь человека... — есть ли у них цель? Эти вопросы в равной степени касаются метафизики и политики. Почему индивидуум или сумма таковых обязаны подчиняться другим или их сообществу? Согласно каким законам должны строиться их отношения? Никто не сомневался в важности этих вопросов, но в чем было сомнение — это в возможности найти окончательный и абсолютный ответ.

20-й век должен был в этом смысле выступить с чем-то более решительным. Теперь впервые было понято, что решение вопросов не в использовании разума и интуиции, а в перечеркивании самих вопросов, иначе говоря, речь шла о такой обработке людей, которая привела бы к тому, чтобы сами вопросы исчезли из их сознания. Система отличалась гениальной простотой: она обеспечивала согласие в принципиальных политических вопросах путем устранения самой альтернативы, вытекающей из старого общественного порядка, который был ликвидирован революцией. Так было достигнуто принудительное идеологическое и политическое единство. Конечно, Маркс не несет ответственности за это. Он был теоретиком, типичным для 19-го века, таким же, как Миль, или Конт, или

Боккль. Политика психологической обусловленности, нашедшая свое применение в 20-м веке, была ему так же чужда, как и им. Являлись ли его воззрения научными, как думал он сам, — это уже другой вопрос, но важно то, что он признавал подлинность вопросов, которые намеревался разрешить.

Переворот, осуществленный коммунистическими /и фашистскими/ государствами /на что мыслители 19-го века смотрели бы с неподдельным ужасом/, заключался в дрессировке людей, дабы не были они обеспокоены вопросами, угрожающими стабильности общественного порядка. Так родился тоталитарный режим, который стал объектом сатиры Джорджа Орвелла и Олдоса Хаксли, режим, в котором тревожащие совесть вопросы выглядят вредными для душевного здоровья людей. Это был подход, очень далекий от подхода Маркса или Фрейда, и в нем заключалась еще большая сила, чем в пессимизме или цинизме таких мыслителей, как Платон, Де Местр, Свифт или Карлейль, с точки зрения которых большинство людей выглядели как безнадежно глупые и развращенные существа. Поэтому эти мыслители предпочли стать над ними, причислив себя к духовной элите.

Надо принять во внимание, что ножницы, образовавшиеся между технологическим и общественным развитием, породили экономические кризисы, приобретавшие все более разрушительный характер и сопровождавшиеся общественными, политическими и моральными катастрофами. Результатом явилась потеря веры в политические идеалы и желание жить в мире, который, сколь бы он ни был скучен и мелок, гарантировал бы от таких катастроф. Рождавшиеся в ходе борьбы лозунги, такие, как свобода, справедливость, цивилизация — теряли свою силу и привлекательность, поскольку их претворение в жизнь уже не казалось таким реальным, как это было в 19-м веке.

Мы являемся сегодня также свидетелями возрастающего процесса совпадения политических интересов с интересами общественными и экономическими. С другой стороны, мы наталкиваемся на точку зрения, что политическая свобода не играет никакой роли без экономической силы, помога-

ющей ей. Это положение, в свою очередь, переплетается с признанием того факта, что сфера вмешательства государства должна расширяться и будет расширяться и в Европе, и в Америке, несмотря на то, что это казалось утопией еще 30 и тем более 50 лет тому назад.

Огюст Конт свыше столетия тому назад спрашивал: если мы не требуем свободы в области математики, то почему мы должны ее разрешать и даже поддерживать в сфере общественных наук и этики? И действительно, если создание известной канвы поведения /а также канвы мысли и чувства/ у людей или целых обществ становится главной целью, — тогда нет ответа на вопрос Конта. И все-таки, несмотря на это, именно само это право отвлечься от политических режимов и обычаев, и даже отвлечься от оптимальных целей жизни общества, представляет собой гордость буржуазной культуры, достигшей своего апогея в 19-м веке, и только теперь мы начинаем видеть начало ее конца.

Мир, остающийся свободным, по крайней мере, в том смысле, что граждане его продолжают свободно изъявлять свою волю и слово, — можно поставить под строгий контроль, направляя человеческую деятельность при помощи инженеров, психологов, социологов, плановиков, находящихся на службе у господствующей группы. Конечно, это не интеллектуальный климат, в котором расцветает творчество, оригинальная мысль и нравственная самостоятельность. Тенденция такого режима заключается в сужении всех общественных проблем до уровня технических задач. Эта тенденция, которую можно сегодня встретить в каждом стабильном обществе, приняла чрезвычайно острый характер вследствие подавления всякого инакомыслия в Советском Союзе. В этом государстве все подчинено центральному плану, ликвидированы /при посредстве воспитания или подавления/ все противоборствующие элементы, и кажется, что все слои русского населения предаются вдохновенной вере в идеологию, в способность и долг человеческого существа делать абсолютно все как можно более цельно и гармонично. Советская концепция ясна, проста и базируется на научной "достоверности". Осуществление советских планов находится в руках тех, кто вполне подготовлены с технической точки зрения и рассматривают людей, находящихся в их власти, как материал, поддающийся неограниченной закалке в рамках "науки". Сталинское выражение об "инженерах человеческих душ" удивительно точно выражает дух этой системы.

На Западе эта тенденция принимает более умеренную форму. Здесь центр тяжести проблемы переносится из области политических разногласий в область разногласий технических относительно достижения максимальной общественной и экономической стабильности.

Нет сомнения в том, что отказ от старых ценностей и замена их новыми, людям, отстаивающим ценности прошлого, может казаться как бессовестный отказ от морали вообще, однако это не что иное, как оптический обман колоссальных масштабов. Привязанность к новым ценностям характеризуется бездумной верой и слепой нетерпимостью по отношению ко всякому сомнению. Все большее число людей готово приобрести чувство уверенности даже ценой согласия на то, чтобы в широких сферах жизни вся человеческая деятельность сужалась до управленческих функций и чтобы человеческие существа превращались, во взаимозаменяемые частицы одной общей системы.

Перед лицом столь сильного желания приобрести стабильность, даже на уровне земли, с которой ты не можешь никуда упасть и которая тебя не предаст, — все политические принципы начинают выветриваться. Этот процесс не совершается везде в одном и том же темпе. В США, например, благодаря экономическим факторам, 19-й век продолжает оставаться в силе дольше, чем где бы то ни было.

Вудро Вильсон был либералом 19-го века в полном смысле этого слова. "Нью Дилл" и личность Рузвельта породили политические споры, напоминающие дискуссии, которые развернулись вокруг Гладстона и Ллойд Джорджа. Либерализм явился самым важным компромиссом между свободой личности и экономической обеспеченностью людей, и это соответство-

вало политическим и экономическим идеалам Джона Миля больше,чем мыслям левых в 30-х годах современной Европы.

9.

Возможно, что Америка отказалась от Вильсона, но она продолжает жить в моральном климате, который мало чем отличается от того, что существовал в дни Вильсона,— в мире викторианских ценностей.

Характерным для нашей эпохи является новое представление об обществе, ценности которого можно анализировать не на основе нравственного чутья, а на основе метафизических догм, касающихся истории, рас, классов или национального характера, догм, исходя из которых можно найти "научный" ответ на вопрос, что хорошо, правильно и желательно для общества. Таким образом зловеще оправдалось пророчество Сен-Симона, казавшееся в свое время столь смелым и оптимистичным: "Власть людей сменится управлением вещами". Появилась элита специалистов с задачей приспособить человеческие существа к этому новому порядку. Отсюда вытекает, что технические науки, управляющие силами природы, должны взять верх над науками гуманитарными.

Наивный материалист Тургенева герой "Отцов и детей" ученый-нигилист Базаров в конце концов получил удовлетворение от своей деятельности. Так же как получил его Сен-Симон и его куда менее романтичный последователь Огюст Конт. Они всегда были уверены в своей правоте, хотя и по совсем разным причинам. Вера Базарова основывалась на утверждении, что оперирование лягушек более важно, чем поэзия, ибо это ведет к познанию истины, чего нельзя сказать о поэзии Пушкина.

Тут нужно, пожалуй, вспомнить о "великом инквизиторе" из "Братьев Карамазовых" Достоевского. Он сказал, что люди боятся больше всего свободы выбора, одиночества и поисков в потемках. Церковь сняла с их плеч ответственность, превратила их в довольных, благодарных и счастливых рабов. "Великий инквизитор" приветствовал догматическую организацию духовной жизни, Базаров стремился к противоположному — свободному научному исследованию, к познанию правды, сколь бы жестокой она не была. Ирония истории в том — и она не ускользнула из поля зрения Достоевского, — что оба они заключили союз, и теперь не легко установить различия между ними. Буриданов осел, который не был способен выбрать между двумя снопами соломы, находившимися на равном расстоянии от него, умер, как известно, от голода. Одно из верных лекарств против такой судьбы — это слепое послушание и вера. Вопрос о том, следует ли искать это убежище в догматической религиозной вере или в догматической вере в науку, представляет собой второстепенный вопрос.

Без такого послушания и веры нет надежды, нет жизни оптимистической, "конструктивной" и положительной. Ирония истории в том, что те, кто были первыми — Фурье, Фейербах и Маркс — выявляли идолопоклонство в законсервированных идеях, а их ученики оказались знаменосцами новых форм обесчеловечивания.

10

Могут сказать, что положение, которое я пытался обрисовать, не так уж ново. Разве не занимались всякие движения, авторитарные и иррациональные, искусственным подавлением сомнений и неприятных вопросов? Разве не делались попытки воспитать людей так, чтобы они не ставили подобных вопросов? Разве не так вели себя церкви и даже государства? Разве не на это было направлено стремление всяких мракобесов и врагов разума, начиная с тех, кто поклонялся мистическим культам и кончая представителями современного романтизма, анархистского нигилизма, сюрреализма и поклонниками различных восточных культов последних ста пятидесяти лет?

Однако два существенных различия отделяют нашу эпоху от той,что ей предшествовала. Прежде всего следует отметить, что сколь бы не превозносили высшую мудрость государственных учреждений реакционеры и романтики прошлого, они все же не отрицали наличие вопросов, требующих ответа. На-

против, они утверждали, что эти вопросы настолько важны, что только мистическое откровение или милость небес способны дать достаточно глубокий и универсальный ответ. Возможно, что требовалось немало лицемерия для обеспечения правильности ответов. Но лицемерие это нечто, отличное от цинизма и слепоты. Даже мракобесы и враги правды ощущали необходимость выразить хотя бы формально свой пиетет перед теми, кто искал правильные ответы. И если их дела свидетельствуют об их лицемерии, то ведь известно, что предатели и еретики часто укрепляют веру, которую они предают.

Второе отличие заключается в том, что в прошлом существовал отчетливый водораздел между мракобесами и носителями света, чего нет теперь. Начиная с Ренессанса понятия прогресса и реакции не были пустыми понятиями. С одной стороны находились прислужники властей, которые придерживались веры, не основанной на разуме и логике,с другой — те, которые выступали за свободное исследование и искреннее самовыражение, те, которые видели в Вольтере и Лессинге, Милле и Дарвине и даже в Ибсене своих пророков. Их общая черта, может быть, единственная, заключалась в их преданности идеалам Ренессанса и их ненависти ко всему, что было связано со Средневековьем. Они ненавидели мрак, угнетение, подавление всякой еретической мысли, презрение к плоти и радости бытия. Сочетание преданности научным принципам с мракобесием казалось совершенно невозможным. Сегодня нет этого водораздела: существует не только преследование науки, но также и преследование от имени науки.

Часто нам говорят, что наше настоящее представляет собой эпоху цинизма и отчаяния, эпоху падения ценностей и моральных норм западной культуры. Но это неправда. Современный мир кажется жестоким из-за множества правил, в сети которых он находится, он жесток из-за его иррациональности. Приспособленчества и даже безропотного подчинения сегодня требуется больше, чем раньше. Скептики, либералы, люди, замыкающиеся в своей частной жизни, если они не идентифицируют себя с идеологиями и организованными движениями,

становятся смешными дон-кихотами и ненавистными для всех борющихся лагерей. И хотя это не так заметно в Англии, Дании или Швейцарии, общая картина от этого не меняется.

В прежние времена, когда в человеческой жизни существовало много авторитетов, личность могла искать спасения от давления государства в оппозиции. Сама борьба между авторитетами создавала ничейную территорию. Сегодня же картина иная. Даже положительное стремление государства, его заботы о сокращении бедности и неравенства, его стремление проникнуть во все поры жизни — сужает область, в которой индивидуум может совершать ошибки и тем самым сужает его свободы.

11

Отсутствие гармонии между прогрессом технологии и развитием в политической и экономической областях требуют установления контроля общества, дабы избежать хаоса, могущего быть не менее катастрофическим для развития человеческого таланта, чем слепое приспособленчество.

Забота о плановом развитии общества требует устранения элементов, могущих вызвать нарушение плана. В крайних случаях эта политика приводит к преследованию недовольных и укреплению дисциплины, подавляющей свободу и инициативу. В конце концов дисциплина превращается в самоцель, и ее претворение в жизнь приводит к образованию заколдованного круга: подавление инициативы для поддержания режима и поддержание режима для подавления инициативы. Таким образом лекарство становится худшим, чем сама болезнь.

Проблема не может быть разрешена логически: мы не можем пожертвовать свободой, как не можем пожертвовать прогрессом благосостояния. Разрешение вопроса должно быть найдено в каком-то компромиссе, даже страдающем двусмысленностью. Создавшееся положение требует особой политики, ибо из изогнутого дерева человечества, как выразился однажды Кант, никогда не произрастет что-либо прямое.

Эпоха от нас требует не большей веры /как нам об этом часто говорят/, не сильного руководства и не более научной ор-

ганизации. Как раз наоборот: меньше фанатичного мессианства, больше скептицизма, больше терпимости, расширения сферы осуществления личных целей. Злостный Талейран может оказаться более человечным , чем добрый Робеспьер, лучшим тормозом, сдерживающим слишком большую власть над людьми в эпоху технологии и планов. Мы должны подчиняться авторитетам не потому, что они никогда не ошибаются, а во имя пользы и большей эффективности жизни. Невозможно гарантировать, что любое решение будет верным и свободным от ошибок — в действительности не существует какой-либо абсолютной системы. Но если это так, то терпимость в отношении какой-либо неэффективности или чего-либо, лишенного прямой пользы, — может способствовать спонтанным порывам личности. И эта спонтанность, по-видимому, имеет большую ценность, чем навязанный сверху порядок.

Следует понять, что вопросы, связанные с научными и религиозными течениями, с системами воспитания и общественными организациями, не являются единственно главными вопросами в жизни человека. Несправедливость, нищета, рабство, невежество, — все, чему может помочь реформа или революция, призваны привлекать внимание общества. Но ведь не только борьбой с извращениями живут люди. Они живут положительными идеалами, личными и общественными, их цели чрезвычайно разнообразны, и в жизни они очень редко поддаются предвидению. Однако именно мужественная преданность этим абсолютным целям, у которых нет общего знаменателя и относительно которых нет уверенности в их постоянстве или изменчивости, — открывают ворота к небу. Концентрация всех душевных сил на пути к этим целям, пусть без должного технического оснащения и осознанной надежды на успех, дарит лучшие минуты в жизни людей и народов.

Статья из книги "Четыре трактата о свободе". /Заголовок статьи дан редакцией./ Печатается с разрешения издательства "Рашафим". Перевод с иврита С. Левковича.

Из цикла "Эссе о времени"

Исраэль ШАМИР

ТРИНАДЦАТАЯ ПОПРАВКА

Где-то в семидесятых годах встретились два американских писателя. Один — драматург и динозавр Тенесси Уильямс, автор "Трамвая "Желание" и "Ночи Игуаны", идол 50-х годов, позднее напрочь забытый. Другой — Гор Видал, элегантный и остроумный, талантливый автор модных безделушек, написавший "Майру Брекенридж" с ее двуполым героем-героиней и кинопереверсией на потребу веселым 60-м годам.

Как и положено динозаврам в анекдоте, они обменялись двумя лаконичными фразами. Старый мэтр Уильямс сказал: "Знаете, я проспал и так и не заметил 60-е годы". Элегантный журналист Гор Видал отпарировал: "Успокойтесь, вы ничего не упустили".

О надломе, отсутствии преемственности между 60-ми и 70-ми годами много писали. Шестидесятые выгорели, как выгорает свеча, — Пражскую весну задавили танками, студенты Калифорнии перекурились марихуаной, в Париже окончилась революция, таблетки ЛСД выжгли мозг автора "Перелетевшего через кукушкино гнездо", русские диссиденты попали не в Верховный Совет, а в кабаки Парижа, менее везучие — в сибирскую ссылку.

Конец шестидесятых прошел по всему свету. Когда автор посетил Непал на излете шестидесятых, там сидели, курили гашиш и искали путь к нирване и откровениям многие достойные молодые люди Запада. Катманду был полон интеллектуальным народом, жившим на доллар в день, ходившим в белых индийских штанах и читавшим "Сидхарту" и Карлоса Кастаньеду о наркотических свойствах грибов.

Сейчас Катманду преобразился. Молодежи там по-прежнему немало, но "Сидхарту" уже не читают, старые хиппи-правдоискатели уехали возглавить рекламные агентства на Манхэттене, а если и попадется старый зубр, то он либо совсем одурел от наркотиков, либо открыл мелкий бизнес и подает "ла фонду" из яка швейцарским туристам.

В древнем монастыре Тянгбоче, на 12-тысячефутовом перевале на пути к Эвересту, по-прежнему бьют по ночам в тугие барабаны и молятся о цветке лотоса, но белые путешественники спокойно спят в странноприимном доме после ужина, приготовленного их шерпами-носильщиками, вместо того, чтоб обрить голову и присоединиться к монахам.

Подобный разрыв бывал и раньше. Тынянов в "Смерти Вазир Мухтара" пишет о разрыве между до- и последекабристскими поколениями в России: те были легки, ходили к девчонкам в Париже и на медведя — белого царя — в Петербурге, эти стали достойными служаками. Оставшиеся в живых люди двадцатых узнавали друг друга в тридцатых годах, как масоны — по взгляду, были чужими в мире чужих.

Так же обстояло дело и в 20-м веке с людьми шестидесятых годов в эпоху семидесятых. Они узнавали друг друга под любым прикрытием — профессора университета, журналиста, хозяина ресторана, некоторые оставались верны традициям, но казались такими же зубрами, как Тенесси Уильямс. Большинство утратило ориентир и не понимало, к чему стремится "новое поколение", лишь двумя-тремя годами /и здесь выдерживается тыняновское противопоставление/ моложе их. Это "новое поколение" казалось нам неинтересным. Они думали о карьере, а не о переустройстве общества, как мы это понимали, они хотели жить лучше и не верили, что сермяжную правду можно отыскать в китайской деревне или в индийском ашраме.

Идеи шестидесятых годов потерпели крах и потому, что многие из них реализовались. Два самых ярких примера "реализации" чаяний нашего поколения — Иран и Индокитай. После того, как я провел некоторое время в Иране в середине 70-х годов и увидел эту счастливую страну изобилия, с ее энергичным народом и деятельным монархом, проводящим свою "белую революцию" — серию радикальных реформ — я не мог понять претензий, обращенных к шаху. Тем не менее не было у меня ни одного знакомого в Европе, который не выступал бы хоть однажды против "кровожадного шаха". Произошло то, к чему мы все так стремились, — шах был свергнут, и на Иран и на мир навалился черный кошмар Хомейни.

Не менее трагична и судьба Индокитая. Практически каждый, выступавший против американской помощи Сайгону, способствовал в конечном счете кровавому ужасу Пол Пота, вьетнамскому вторжению в Камбоджу, голоду в Индокитае, горю этнических китайцев.

Идея социального равенства и "государства всеобщего благосостояния" зародилась раньше, но шестидесятые поддерживали и высокие налоги на богатых и материальную помощь — для бедных. Это породило небывалую власть чиновного аппарата во всех развитых странах Запада, не улучшив положения бедных.

Еще несколько лет назад автор тут поставил бы точку и послал письмо в редакцию, озаглавив его "Где наши революционные традиции?". Но последние годы показали, что на Западе начался новый процесс, не менее интересный, не менее революционный, чем предшествовавший ему, но совсем неожиданный. В последние годы началась глубокая ревизия, пересмотр идей шестидесятых годов. Эта ревизия вылилась в начало невиданной индивидуалистической революции.

БУНТ В КАЛИФОРНИИ

Революция началась в 1978 году в Калифорнии, когда избиратели этого огромного штата провели плебисцитом "Поправку 13". Слова "Поправка 13", возможно, должны сопровождаться оркестром и тушем и звучать не менее мощно, чем Коммунистический Манифест, или Провозглашение Республики. "Поправка 13" урезала налоги штата на 60 процентов и запретила легислатуре штата повышать налоги без проведения дополнительного плебисцита. Газеты назвали это "бунтом налогоплательщиков" — впервые за сотню лет граждане современного свободного государства осмелились взбунтоваться против доктрины "государства всеобщего благоденствия" и урезали налоги.

Мы, бывшие граждане первого в мире "социалистического" государства, даже не понимаем всей взрывной силы слова "налог". Марксистская политэкономия концентрировалась на понятии "прибавочная стоимость" и не учила нас, что революции Франции и Америки в конце XVIII века вспыхнули из-за налогообложения. Английский налог на чай обернулся Бостонским чаепитием и Республикой, налоги во Франции привели к власти Конвент. И победившие республики, в первую очередь, провозгласили право гражданина самому определять, какие налоги и кому он должен платить.

Этой великой победы буржуазии хватило почти на двести лет, что уже можно считать достижением. За это время разрослось "среднее сословие", выросло и новое государство, сосредоточившее в своих руках такую власть, которая и не мерещилась людовикам. В государстве нетоталитарном, западного типа, власть исходит от денег. Государство взяло в свои руки власть, потому что оно взяло в свои руки деньги налогоплательщиков. Эта власть была побочным продуктом создания "государства всеобщего благосостояния".

Когда-то теоретики "среднего сословия" видели в государстве "ночного сторожа", по словам Торо, заимствованным у немецкого философа. Государство должно было, как ночной сторож, охранять общественный порядок — и все. Но

затем возникли дополнительные требования к государству и обществу. Социал-демократия, практически победившая во многих развитых странах Запада, потребовала и получила социальные льготы для бедных, медицинскую помощь, образование и т. д. Часть этих требований были разумными — должна быть какая-то помощь по безработице, чтоб не было мятежей на улицах, дети должны учиться в школе и получать медицинскую помощь, чтобы завтра были квалифицированные работники. В результате государство стало выполнять огромную роль как предприниматель и покровитель народа. Конкретно эту роль взяли на себя бюрократы.

Мы часто пользуемся понятием "бюрократ", не задумываясь о значении корня "крат" — властитель. Благодаря налогам у населения появились новые властители, которых налогоплательщики посадили себе на шею. Людям часто кажется, что помощь, которую они иногда умудряются получить от правительства — это благотворительность. К сожалению, это благотворительность за счет "среднего сословия".

Почему — только за счет "среднего сословия"? Разве не все платят налоги? Конечно, нет — говорят теоретики калифорнийского переворота. Сегодняшние феодалы — крупные компании, не только не платят налогов, соизмеримых с их доходами, но еще и берут деньги налогоплательщика, как американцы убедились недавно на примере с фирмой "Крайслер". Когда эта автомобильная компания стала "тонуть", федеральное правительство дало ей больше денег на поправку, чем всем безработным Америки. Деньги на помощь "Крайслеру" были взяты из кармана "среднего сословия". Несмотря на новый налог, введенный администрацией Картера, доходы нефтяных компаний остаются сказочными, а частные лица, юристы, квалифицированные рабочие, строители, фермеры платят бешеный налог со своих совсем не сказочных доходов.

Налоги в современных развитых странах достигают 30—50 процентов доходов "среднего сословия", т.е. эквивалентны прямому переделу и перераспределению доходов. Из "ночного сторожа" государство стало покровителем и властелином. И

рост налогов, и развитие системы социальной помощи были выгодны государству — не только как аппарату насилия, по Марксу, но и как "аппарату" — самоцели. Первый давал в руки чиновников реальную силу, а второй создавал дымовую завесу, покрывающую ответ на вопрос — куда идут деньги?

Партии и группы, выступающие против налогов, появились и в Европе, давно убаюканной социал-демократией. Но даже в странах, где избиратели выбирали правые, несоциал-демократические партии, налоги не уменьшались, потому что любое государство заинтересовано в этом источнике силы. Интересно припомнить, что бюджет Калифорнии разросся именно во времена губернаторства Рональда Ригана, самого правого американского государственного деятеля.

Избирателей Калифорнии запугивали все, им предрекали будущее без почты, коммунальных услуг и т. д. Еще бы — две трети налогов! Тринадцатая поправка и прошедшие с тех пор два года разбили все доводы бюрократов — земля не дрогнула, полиция не разбежалась, затрат стало меньше — и стало ясно, что налоги нужно урезать еще.

Опыт показал, что малое урезание налогов не приносит плодов. При сокращениях штатов в израильских госпиталях и калифорнийских школах в первую очередь увольняли медсестер и учителей, а чиновный аппарат почти не страдал. И тем не менее, такого количества клерков, как в израильской системе здравоохранения, нигде — кроме разве что в Индии — не увидишь. Видимо, урезать налоги нужно гораздо глубже, одновременно с передачей в руки врачей и учителей контроля над школами и больницами, так, чтобы у врачей, например, был выбор — еще один клерк или медсестра.

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ И ПАТРОНАЖ

Борьба против налогов стала в современном западном мире не просто борьбой за власть и за гражданские свободы. Налоги оказались мощным оружием бюрократии на пути ограничения личных свобод человека. Например, в сказочной Швеции гражданам приходится платить за самую совершенную систему социальной помощи согласием на практическую опеку государства. Каждый житель имеет свой "личный номер", все доходы и каждая копейка непрерывно проверяются на компьютерах, за пределы определенной суммы уже не стоит стремиться — налог будет расти по экспоненте, достигая очень скоро 80 процентов дохода, а затем и более. Шведские налоговые инспекторы ворвались в дом великого режиссера Ингмара Бергмана и своими преследованиями вынудили его бежать за границу. Они же содрали 102 процента налога с популярной детской писательницы Астрид Линдгрен.

В Израиле недавно налоговые инспекторы нарушили радость женихов и невест на десятках свадеб по всему Тель-Авиву, они оцепили залы, не давали ни войти, ни выйти,чтобы проверить — пересчитать — доходы фотографов, официантов, поваров и т. д.

Подобное невероятное вмешательство и посягательство на свободу личности возможно только в условиях государственного патронажа. Борьба против него стала знаменем новой революции. Революцию 60-х годов делали студенты, сыновья разбогатевшего "третьего сословия". Трудно говорить об их непосредственном личном интересе в тогдашней революции, кто из них вскочил бы в ответ на старинный вопрос: Qui bono? — никто. В скучной книжке Симон де Бовуар до бесконечности пережевывается вопрос — может ли интеллигент, сын буржуев, помогать рабочим, если у него нет прямой выгоды от проводимой ими революции, кроме "умственного соучастия". Этим вопросом занималась европейская левая между войнами, когда рабочие все еще воспринимались как революционный класс. У Маркузе этот вопрос решается просто — рабочий стал буржуем, и брать его в расчет нечего, а интеллигент-студент стал сегодняшним "революционным классом". Марксисты критиковали этот тезис в конечном итоге с позиции "Qui bono", добавляя, что студенты — не класс, а шалуны.

У новой индивидуалистской революции, начавшейся в Ка-

лифорнии, больше шансов на успех, чем у коллективистской революции 60-х годов. Ее участники идут в бой за свои интересы, защищая собственный карман и собственную шею. Эта революция, как и та, — революция "среднего сословия", но будучи наследницей первой, она, как и пристало дочке миллионера, бунтует против родителей.

Экономическую программу этого нового течения, зародившегося в результате "Поправки 13", можно назвать "новым экономическим либерализмом". Теоретические основы его были разработаны чикагской школой Мильтона Фридмана, нобелевского лауреата, которого пытались забросать шапками за его советы правительству Чили. Недавно в английском журнале "Экономист" появился подробный анализ применения этой доктрины в Чили, где рядом с осуждением полицейского террора и кровавой диктатуры Пиночета говорится, что экономически Чили стала на верный путь, инфляция убавилась в семь раз, платежный баланс оздоровился. И все это было достигнуто методами, о которых люди шестидесятых годов даже не думали. Отменили пошлины, создававшие тепличную обстановку для неэффективной местной промышленности, выровняли кредиты, что позволило предприятиям получать их в требуемых размерах, без протекции.

Когда в Израиле в 1977 году пришло к власти правительство Бегина, тоже шла речь о проведении в жизнь политики Фридмана. Однако ничего из этого не получилось. Израиль особо нуждался в избавлении от патронажа государства. Почему государство должно штрафовать израильского гражданина на тысячу долларов за покупку цветного телевизора?* А ведь пошлина и есть штраф. Почему израильтяне должны переплачивать в три-четыре раза больше, чем американцы, за автомашины, холодильники, поездки за границу, — да за все, что угодно? Почему они должны платить небывалые, шведского уровня, налоги, не получая ничего

* Эти деньги идут лишь на содержание невиданного таможенного аппарата, с его тысячами официально санкционированных правительством бездельников. Может быть, уж лучше дать им, как в утопии Шекли, право грабить на больших дорогах!

взамен? В Швеции за уплаченные огромные налоги и за согласие на патронаж государства гражданин получает гарантию безбедного существования. Государство заплатит за него квартплату, больничные издержки, даст ему денег на пропитание и на расходы, даже если он не безработный, а просто так — не хватает. Швед получит обеспеченную старость, и заботы о материальных вещах не должны будут его беспокоить. При зарплате, одной из самых высоких в мире, он покупает вещи и ездит за границу по цене, куда более дешевой даже абсолютно /а не относительно к доходам/, чем израильтянин. Даже общественный транспорт стоит ему дешевле, не говоря уж о личном. И налоги его — не больше израильских. Куда идут наши налоги, может спросить израильтянин. Не будем вдаваться в то, сколько денег тратится на Элон Море и прочие поселения, сколько идет на военные нужды, на строительство военной промышленности с собственными самолетами /чего не могут себе позволить многие европейские государства/. Можно сказать смело, что на нужды населения эти деньги не идут. Помощь на детей, по болезни, по старости так мала, будто израильтяне платят налог 3 процента, а не 33. До сих пор в Израиле, как и во многих других странах, налог относился к числу "священных коров". Он мог только расти и тучнеть. Новое поколение, которое мы, люди 60-х годов, списывали со счетов, как "неинтересное", занесло руку на самую твердую опору государства, и можно предположить, что пример Калифорнии не пропадет попусту ни в странах, где налоги берут под предлогом создания благосостояния для всех, ни в странах,где они берутся под предлогом оборонных расходов.

Когда автор рассказал о новой калифорнийской ереси своим знакомым, они замахали руками, — нет, такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Как же можно без налогов? А полиция? А дороги? А помощь бедным? На это можно ответить только демонстрацией примера, и автор занимает место свидетеля-очевидца, присягает на Библии и говорит: "В Японии, одной из самых развитых стран мира; среднее сословие платит от пяти до семи процентов

зарплаты в виде подоходного налога. Более того, там нет даже пресловутого налога на прибавочную стоимость, самого антидемократического косвенного налога, придуманного со времен падения Капетов. За эти деньги японцы получают почти бесплатно медицинскую помощь — за визит к врачу никем не застрахованный японец платит один доллар. Застрахованный и вовсе не платит. Есть, хоть и небольшая, государственная помощь по безработице, по старости и т. д. Основную тяжесть помощи старикам, больным и т. д. берут на себя компании. Они же платят налоги, — источники существования государства. Они же поощряют искусство, театр, кино и поэзию. Компании даже могут освободить от налогов все, что им придет в голову — например, расходы на устройство пирушки с гейшами для талантливого бедного поэта. Чиновничий аппарат мал, вежлив и эффективен. Почти все шоссе и немало железных дорог — частные, хочешь ехать — плати, налогоплательщик за тебя платить не будет. Я, простой человек, принадлежащий к среднему сословию, могу засвидетельствовать: лучше платить 7 процентов налога и самому платить за проезд на шоссе и за роды, чем платить 35 процентов налога, как в Англии со всей социальной помощью, или 50 процентов, как в Швеции или Израиле". На этом кончаются слова очевидца.

Видимо, устроители калифорнийского бунта поняли то, что еще не дошло до Европы, — нужно и можно покончить с патронажем государства, ничего практически не проигрывая. Для этого нужно отнять у государства право перераспределять доходы и класть их себе в карман где-то в ходе перераспределения.

К сожалению, правые партии, если речь идет о государственных расходах, не лучше левых. Правительство Бегина, например, не выполнило своих предвыборных обещаний — даже пошлины не упразднены, хотя их существование — явный анахронизм. Для покупки дома израильтянин должен достать почти все деньги сразу, потому что он не может получить даже ссуду под закладную на дом, как может, скажем, англичанин.

Пошлины — это узаконенный вид грабежа на большой дороге, и идут они все равно на содержание аппарата таможни. Автору доводилось получать багаж во многих странах, но он нигде — кроме как в Индии — не видел ничего подобного порту Ашдод, где нужно пройти через лапы пятидесяти чиновников, чтобы получить багаж. Эта процедура занимает целый рабочий день — с восьми до двух, и то с трудом можно успеть. Если сложить потерянное посетителями рабочее время плюс содержание таможенников — много ли останется казне?

Покупка дома в Израиле сопряжена с неимоверными долгами, ссудами, протекционизмом. Причина — нездоровая политика банковского кредитования, в то время как в этой области не должно быть никакой политики, кроме рыночной. Ограничения рынка не приводят к хорошим результатам. В США, в тех штатах, где закон ограничил кредит, трудно получить закладную на дом, трудно купить дом.

Любой налог вреден — и прямой, и косвенный, и на собственность, если он выходит за разумные пределы /эти пределы ниже 10 процентов, указанных Библией/.В Японии есть один высокий налог — введенный по примеру американцев — налог на продажу дома и земли. Полученные таким образом деньги считаются частью годового дохода. Продающий дом может потерять таким образом половину полученной цены. В результате применения этого налога — четверть площади Токио занимают огороды, люди живут в крохотных квартирах, не имеют возможности расшириться или ездят на работу по полтора часа в каждую сторону. А это последствия лишь одного налога в этой счастливой и не обремененной налогами стране.

Но размеры налогов — это еще не все. Во всем западном мире власти ведут широкое наступление на свободу личности, пользуясь налогами, как оружием.

Свобода личности — это одно из новомодных изобретений человечества, появившееся где-то в прошлом-позапрошлом веке в Европе. В добрые феодальные времена никакой свободы личности не было, и сама мысль о ней казалась дикой. Компьютеров надобно не было — и так каждый человек с момента рождения и до смерти принадлежал к той или

иной организованной группе населения /контролировавшей его и позволявшей контролировать себя извне/, к цеху, к группе вассалов, крепостных крестьян, дворянству. Каждый шаг человека был ведом и членам его группы, касты, и, в конечном итоге, властям. Затем, когда рухнули сословные стены, человек внезапно обрел невиданную ранее свободу — в частности, свободу не быть постоянно на виду, свободу менять свою судьбу, свободу поступать неконвенционально, не рискуя куском хлеба и головой.

КАЖДОМУ — ЛИЧНЫЙ НОМЕР...

В наши дни государство пытается отнять эту недолговечную свободу. Для этого используются компьютеры, хранящие всевозможную информацию о частной жизни граждан, следящие за каждым нашим шагом. Например, в прошлом году в Англии был большой скандал, связанный с отбором жюри присяжных для процесса о разглашении государственной тайны. Выяснилось, что государственное обвинение обратилось для отбора к полицейскому компьютеру, чтобы проверить лояльность присяжных. Компьютер сообщил не только о том, были ли они осуждены судом, но и о том, кто из них, хоть и оправдан, был судим в прошлом, — но какой смысл быть оправданным, если уж о самой попытке властей осудить тебя будет регулярно сообщаться всем желающим?

В Англии, как и во многих странах, по прошествии нескольких лет полностью ликвидируются последствия мелкой судимости, и о ней запрещается даже упоминать. Но компьютер ничего не забыл, и обвинение отвело также и людей с "забытой" судимостью. Компьютер сообщил, у кого были под судом родственники, кто не платил налоги, кто хоть однажды обращался с жалобой на власть предержащих, и, в частности, на полицию, кто писал в левых журналах, кто пострадал от преступлений и т. д. При этом все "подозрительные" были отведены. Обо всем этом сообщила газета "Гардиан", несмотря на то, что это ставило и ее под удар судебных органов.

Все это, может быть, позволяет лучше понять, почему в наши дни в Америке и Западной Европе возникли антикомпьютерные организации. Некоторые из них стали на путь диверсионных атак против хранилищ информации о частных гражданах. Лишь за последние месяцы произошло три взрыва трех таких "банков информации". При расследовании выяснилось, что часть информации была незаконно собрана, а часть — хранилась вопреки закону. Взрыв компьютера — это примитивный акт самозащиты граждан от произвола властей. Более радикальный акт может привести к ликвидации всей системы сбора компьютеризованной информации. Во всяком случае, автор этой подрывной статьи вполне может найти себе место в электронных ячейках, подлежащих постоянной проверке за счет налогоплательщика. Так или иначе, компьютеры — эта подлинная угроза свободе человека — должны быть обузданы, и это, может быть, один из главных лозунгов новой индивидуалистической революции.

Пока, однако, все идет в обратную сторону. Для успешного функционирования компьютеров нужно, чтобы у каждого человека был номер. В Швеции у каждого гражданина есть свой "личный номер", который он получает при рождении. Этот номер фигурирует повсюду. Если у шведа укатят машину за неверную парковку, ему не отделаться уплатой штрафа — благодаря единому "личному номеру" забравшие его машину городские власти предъявляют ему общий счет — за все неоплаченные раньше штрафы, за просрочку оплаты городских и государственных налогов, счетов за воду, свет, газ, неуплату алиментов и т. д. Такой счет намного превосходит стоимость машины.

Израильские газеты недавно бодро сообщили, что через пару лет такие номера будут введены и в Израиле: "Всякий знает, как трудно запоминать различные номера наших документов — паспорта, удостоверения личности, водительских прав. Не лучше ли иметь только один номер, который так легко запомнить?" — писала одна из газет.

Да, лучше — для правящего аппарата. Нет, не лучше — для человека.

В Израиле любое усиление контроля властей особенно опасно, так как уважение к свободе личности — это дело традиции, а на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, откуда приехало большинство израильтян, такой традиции не было. В стране, где государство решает, на сколько штрафовать /пошлинами/ покупателя машины, кому давать кредит на покупку дома, а кому нет /не по нормальным кредитным нормам/, у кого отобрать половину дохода, а у кого — нет, где можно приказать человеку в день его свадьбы вывернуть карманы, где в марте с. г. неисправные налогоплательщики были брошены в тюрьму, как во времена Диккенса, — не хватает только еще "личных номеров".

Впрочем, и их отсутствие ничего не значит — в Америке властям удалось создать компьютеризованную систему информации на основе "номера национального страхования", который указывается на водительских правах и прочих документах.

Собирающие все данные о нас компьютеры, "личные номера", свобода и право властей, нанимателей и банков узнавать всю подноготную, — все это возвращает нас в те же феодальные времена, когда любой неконвенциональный поступок ставил человека вне закона. "Государство всеобщего благосостояния" обладает для этого огромными возможностями, оно сначала отбирает у человека значительную часть его дохода в виде налогов, а потом может что-нибудь дать ему обратно — если захочет. Ведь оно, это государство, — и наниматель, и предприниматель, и заказчик. В Западной Германии люди, участвовавшие в 1968 году в студенческих демонстрациях, теперь, то есть 12 лет спустя, не принимаются на работу в государственный сектор — то есть, в частности, в школы. Понятно, что западногерманская молодежь наших дней трижды задумается, выходить ли демонстрировать на улицу, если это может привести к потере куска хлеба; а если уж выходить, то, может быть, лучше уж с автоматами, ведь семь бед — один ответ. Левые Западной Германии, появление группы Баадера—Майнгоф, все это, возможно, связано именно с подобной репрессивной политикой властей, закрывших путь для

протеста и оставивших лишь альтернативу — или конформизм, или вооруженная борьба.

Бюрократия стала всесильной и всевластной во всех западных странах. Она выросла, как огромный паразитический нарост на теле общества, который можно уничтожить, только перекрыв главный канал его питания — налоги. Умерить ее деспотию с помощью новых инструкций невозможно. Всякий, кто сталкивался с исполнительными и фискальными властями, знает, как трудно добиться чего бы то ни было — продления визы, получения причитающегося пособия, оформления купли-продажи, импорта-экспорта, открытия предприятия и т. п. Все это можно сделать, но занимает месяцы и огромное количество труда и усилий.

В Израиле эта непроизводительность бюрократии сочетается с общей непроизводительностью, приводя к невероятным результатам. Чтобы получить деньги за работу на радио или в университете, необходимо двух- или даже трехмесячное ожидание и это — при 10 процентах ежемесячной инфляции, то есть человек получает за работу на 20—30 процентов меньше, чем следует, а потом с этого у него еще берут 40 процентов налога. Единственный совет, который дают в университете или на радио: "Не нравится — уезжайте в другую страну, где платят сразу". Объясняется это опять же введением компьютеров. Казалось бы, они должны были ускорить процесс, но благодаря им, все процессы в Израиле дошли до доброй старой оттоманской скорости. Письмо из Иерусалима в Тель-Авив идет в лучшем случае 10 дней, при расстоянии 70 км*. Обратим внимание, что все это связано с правительственным аппаратом — и радио, и университет, и телефоны, и почта — все это питается за счет налогов и страдает от паркинсоновой болезни.

В старину эта неэффективность, присущая Азии, несколько смягчалась возможностью дать взятку. Взятка — один из лучших модераторов управления, делающих власть человечной.

---

* Только отключение воды, света и телефона за неуплату производится вручную, без компьютеров, и быстро.

ВЗЯТКА И ГУМАНИЗМ

Взятка — это самый простой фиид-бэк, как говорят в теории управления. Чиновнику имеет смысл вести себя прилично, за это он будет что-то иметь. Запугать же его сверху невозможно. В известной сказке говорится о царе, приказавшем полицейским помогать слепым переходить улицу. В результате сотни слепых были сосланы на каторгу и в ссылку — так, как по испорченному телефону, повеление царя дошло до городовых.

Если чиновник получает и деньги, и награды сверху, от своего начальства, он не будет цацкаться с народом. Как это ни печально, но пока не удастся начисто ликвидировать весь чиновный класс, его сила может быть лишь умерена взятками. К сожалению, западный мир увлекся идеальными построениями греческих теоретиков власти и постарался создать идеальную машину управления, в которой чиновники управляются сверху и от народа зависят лишь через законодательные органы, то есть никак не зависят. Эта идеальная машина западного государства великолепно провела в жизнь нюрнбергские законы, а затем — массовое уничтожение евреев. Подобных вещей не происходило на Востоке не потому, что люди были добрее, отнюдь — но потому что у них в руках не было механизма, столь усовершенствованного, как западное государство. Брехт в одной из своих довоенных пьес доказывает, что человечество не доросло еще до такой добродетели, как точность и аккуратность. "Возьмите, к примеру, летчика. Он устал и неточно снимает показания приборов. Ему надо сбросить бомбы на большой жилой дом, а они летят мимо. Полсотни человек спасены от гибели. Люди еще не созрели для такой добродетели, как любовь к порядку. Они ставят себе идиотские цели, и только халатное и нерадивое выполнение их планов может уберечь людей от крупных неприятностей... Расхлябанность спасла жизнь тысячам людей. На войне часто случалось, что ничтожное отступление от приказа помогало солдату остаться в живых, попасть в плен и спастись... Человечность вы найдете там, где найдете чиновника, который берет. Пользуясь подкупом, вы можете иногда даже добиться справедливости. Фашистские правительства выступают против подкупа именно потому, что они не гуманны". /"Разговоры беженцев"/.

Действительно, евреи Европы погибли в первую очередь потому, что к тому времени все страны наладили идеальную систему контроля над иммиграцией. У всех были уже паспорта, визы, без них нельзя было сделать ни шагу, чиновники на границах — о, эта идеальная античная добродетель! — не брали взяток, и шесть миллионов человек сгорело.

Еще в конце 19-го века можно было въехать в любую страну Европы и без паспорта — так попали евреи, например, в Англию. Но затем восторжествовал порядок. В Индии легче справиться с ужасной бюрократией, чем где бы то ни было, потому что чиновники получают очень мало и охотно берут маленькие взятки. В наших просвещенных странах, если кто и берет, то ожидает слишком многого, то есть взятку имеет смысл давать только для нарушения справедливости, а не для ее "восстановления".

Я не исключаю, что последним приютом свободного человека окажется Азия с ее разболтанностью, если странам Запада не удастся отделаться от античных идеалов в области управления. Грустно думать, что наши свободы в такой степени зависят от неэффективности правящего аппарата, что мы, как мыши, живем в щелях меж его плохо прилегающими шестеренками.

Впрочем, в некоторых странах прекрасно прижимают человека и без компьютеров — например, в Японии все знают обо всех, и любой проступок уничтожает человека. Попробуй разведись — твоих детей не возьмут на работу. Попробуй не отдай долги — лучше уж сразу прыгнуть в жерло вулкана. До четвертого и двадцать четвертого поколения японец платит за грехи отцов, а за собственные — до последней копеечки. Никакая перемена места жительства и работы не спасут — каждый новый наниматель проверит вашу родословную, нет ли в ваших жилах крови нечистых /неприкасаемых/, не задолжали

ли вы кому, не было ли в семье разводов. Экономическая причина этого более чем проста — в Японии несколько гигантских компаний, контролирующих всю жизнь страны, — наследниц феодальных лордов. Мелких предпринимателей не так много, да и те зависят от этих империй. Империям же свойственно контролировать маленького человека. Свободное предпринимательство 19-го века, по-видимому, несло в себе семя собственной гибели — грядущие монопоии. При господстве монополий у человека почти нет уже выбора, почти нет свободы, зазор меж шестеренками опасно сужается, и человеку-мышке остается лишь жалобно попискивать.

На знамени революции нашего времени начертано могучее слово — индивидуализм. Коллективизм всех толков полностью обанкротился, обернулся притеснением личности. Основные фронты борьбы таковы: налоги — родник, дающий силу государству и чиновному классу господствовать над личностью, должен быть перекрыт. Воинствующие компьютеры, дающие властям возможность влезать в нашу частную жизнь, должны быть перекованы на орала. Монополии — экономическая база произвола, — должны быть обезоружены, как грабители на большой дороге. Государство должно быть обуздано и возвращено на свое место "ночного сторожа", а не "отца" и "покровителя". Его следует лишить нашей поддержки. Маркс был прав — чиновник должен получать не больше рабочего, но главного он не сказал — у чиновника должно быть не больше власти, чем у рабочего.

Движение за ограничение налогов и власти не может исходить ни от одной из имеющихся партий — таков опыт Калифорнии, где все партии дружно выступали против налогоплательщиков. Как подлинно демократическое движение, оно исходит от рядовых граждан и не может быть иным. Оставшиеся налоги должны идти на образование и медицинскую помощь — не на содержание государственного аппарата. Многотысячная армия чиновников должна переквалифицироваться в рабочих, разводящих овец, если уж нет им места в существующем производительном секторе. Следует прекратить компьютеризацию за наш счет и против нас — она лишь приводит

к волоките, когда выполняет якобы полезную роль, и к неприятностям, когда применяется против населения.

В бесконечных разговорах о войне и мире, в заботах об устройстве мы и не заметили подлинной опасности и подлинной надежды. Новые вехи, выбранные "практическими идеалистами" Запада, указывают на возможность будущего развития и выхода современного западного общества из тупика.

Игорь НОЛЯИН

ИМПЕРИЯ И НАРОД

Некоторое время назад в газете "Новое Русское Слово" была опубликована статья С. Абашели. Автор-грузин привел некоторые небезынтересные исторические данные и выдвинул требование об отделении Грузии от России. Казалось бы, что можно противопоставить этому, столь естественному требованию, находясь на позиции последовательного демократизма? Но вот в том же "Новом Русском Слове" появляется статья профессора Пагануцци, который выразил резкое несогласие с Абашели, обвинив его в тенденциозном подходе к проблеме. Профессор Пагануцци сообщает читателям о том, что его "покойный дед по матери находился во главе Кавказского отдела Удельного ведомства" и приводит примеры доброго отношения русских к грузинам. Я не думаю, что могут вызвать сомнения факты, приводимые автором. Но какое отношение имеет прошлая доброта или любовь между народами к их современному желанию разойтись? Профессор Пагануцци далее пишет, что "грузинская нация сделала солидный вклад в создание, укрепление и стабилизацию советской власти на территории бывшей Российской империи". Ну и что же? Неужели из того факта, что Грузия "сделала солидный вклад", можно прийти к выводу об отсутствии у нее права на отделение?

Еще одна статья на эту же тему — Б. Бровцына — обладает несравненным преимуществом. Она вообще избегает рассуждений. Ну и, естественно, — там, где отсутствует мысль, раздаются трубные звуки декретирования: "Россия должна оставаться в своих исторических границах", "Грузия остается частью России". Должна, остается. Все решается наперед...

Автор называет свою точку зрения "русской". Однако при ближайшем рассмотрении становится ясным, что перед нами не русская, а напротив, глубоко антирусская точка зрения, и на этом мне хотелось бы остановиться подробнее.

Как и другим народам, русскому народу чужды имперские интересы, будь то интересы прошлой, российской империи, или интересы нынешней, советской. Он это доказал в феврале 1917 года. Когда монархия рухнула сама по себе, стихийно, без участия политических партий /а в этом согласны историки даже противоположных сторон/, русский народ и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти ее. Так на каком же основании свои симпатии к империи иные из авторов выдают за русскую точку зрения?

Что же такое империя? Что означает это понятие с точки зрения рассматриваемого нами вопроса, т. е. с точки зрения отношений между народами? Возьмем ли мы империю Александра Македонского, классический Рим I — IV вв., Оттоманскую империю, Австро-Венгрию или Россию, — нам не трудно будет увидеть, что в рассматриваемой нами плоскости империя представляет собой насильственный союз, созданный в результате войн.

Для России империя означала и означает насильственный союз русских с другими народами, сложившийся, конечно же, не по вине русского народа. Нации могут враждовать, или, напротив, прекрасно уживаться друг с другом в пределах империи, но империя, повторяем, была и остается насильственным союзом. Такова печальная история народов, хотя для многих империя представляет собой набор куда более

отрадных картин: поле для честолюбия, военных подвигов, блестящих карьер, богатой добычи, жирного генерал-губернаторства и т. п.

Предположим теперь, читатель, что мы поставили диагноз этой насильственной или даже ставшей со временем дружественной связи. Предположим далее, что в результате анализа путем внимательного сопоставления исторических, социологических и психологических данных мы пришли бы к заключению: корень всех несчастий России лежит именно здесь, в этой насильственной связи, в этом имперском союзе. В чем состоял бы наш долг, долг русских патриотов? Если бы мы обнаружили нечто подобное, наш первейший долг заключался бы, конечно, во всяческом стремлении тем или иным путем поскорее разорвать, нарушить, уничтожить эту связь, какой бы идиллически прекрасной она нам ни казалась, и как бы крепко мы ни любили империю. А если бы мы узнали, к тому же, что и другие народы не желают этой связи и хотят отделиться от России, что это не только наше, субъективное желание, возбужденное обнаружением многих из наших тяжких бедствий, но что и объективный ход событий движется в том же направлении, — разве в этом случае мы не воспряли бы духом и не укрепились бы в своем стремлении?

Что является главной бедой современного русского и нерусского населения СССР? Разумеется — отсутствие демократии. С этим согласны все, тут как будто споров нет. Споры начинаются тогда, когда желают определить причину этого явления, хотят поставить диагноз: Кто виноват? Откуда такая напасть? Принесли ли деспотию на Русь современные варяги, т. е. коммунисты? Или она существовала в России до появления коммунистической доктрины? Или, может быть, деспотия коренится в самом русском характере, в широкой славянской натуре? И в этом случае все наши прекрасные стремления к демократии — напрасные потуги? Чего только нельзя прочесть по этому случаю!

Но в самом деле, неужели мы, русские, как специфичный человеческий тип, отличаемся коренным образом от других? Нет, не думаю. Русский, как особый тип, отличается от других

только внешним, поверхностным, несущественным образом. В глубине же своей души русский чувствует себя так же, как представитель любой другой нации. Так, а не иначе я думаю потому, что стою на точке зрения науки, потому, что этому учит сравнительная психология и физиология. Особенность русского, как и представителя любой другой нации, заключается в несущественном, в явлении, в феномене. Но если мы, русские, такие же, как и другие, тогда вопрос о нашей особенной, отличной от других сущности отпадает, и нам остается понять: "Каким образом на святую Русь попал дьявольский коммунизм". Или святая Русь, как и Запад, была не совсем святая, и тогда черти из западных болот оказались желанными гостями наших собственных домовых?

Говоря о насильственной связи русских с другими народами и зная исторически разнородную аудиторию различных волн эмиграции, я предвижу возражения. Сторонники будущей империи /я не думаю, что их много, но судя по некоторым статьям, они все же существуют/, возможно, возразят мне и в полной гармонии с советской исторической наукой скажут, что, во-первых, народы СССР не насильно, а по доброй воле объединились с русскими. И во-вторых, Российская империя, в отличие от других, Британской, например, не занималась покорением народов, а если и занималась, то делала это по-Божески, не сдирая с покоренных семь шкур, как те же англичане и австрийцы. Именно такого рода мнение мы встречаем в русских изданиях и здесь, на Западе, и там, на Востоке, в СССР. Но так ли это? Неужели генерал Ермолов и покорение Кавказа — только выдумка клеветников России? Неужели три раздела Польши — не коренной факт существования Российской империи? Неужели завоевание Ташкента в 1865 году и позже Бухарский поход — не действительная история? А присоединение трех республик Прибалтики, Карельского перешейка, Закарпатья и раздел Польши с Гитлером в советское время — все это лишь превратные картины, плод стараний все тех же очернителей?

Все гадатели о судьбах русского народа проходят почему-

то мимо решающего фактора, связующего в единое целое империю прошлую с империей настоящей, советской, а именно: насильственной связи русского с другими народами, населяющими Россию. Упомянутые факты — лишь малая толика из их громадного числа, приведенного в русских исторических летописях известных и неизвестных историков, начиная с Татищева и Ключевского.*

Разумеется, Россия вела и оборонительные войны — с печенегами, татарами, поляками, но это случалось, в основном, во времена доимперские. Имперская же часть истории России заполнена завоеваниями. Иначе империя не могла бы образоваться. Империи не создаются из оборонительных войн. Сам факт существования империи означает не что иное, как неизбежность завоевания.

На какую бы империю мы ни взглянули, мы увидим лишь подтверждение этой азбучной истины. Тем не менее, многие публицисты, пишущие об истории России на русском языке, остаются глухими к этому факту. Им, очевидно, кажется, что Россия в своей основе отличалась от других империй, а иные из них вообще смотрят на Россию глазами этакого вечного бодрячка Ноздрева: "Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс!". Однако мало обладать патриотическими чувствами и водевильными понятиями, чтобы писать на исторические темы.

Какое отношение имел и имеет русский народ к империи российской и к империи советской? Он был и остается орудием и жертвой имперских завоеваний. Он был и остается обратной стороной медали, обозначаемой воинственным девизом "Гром победы..." Между тем, вот что примечательно: побежденные в военном отношении нередко оказывались победителями в социальном: материальный уровень жизни в Грузии, Средней Азии, Германии, Японии был значительно выше, чем в России. Русский народ платил и платит за чуждые ему имперские интересы жизнью своих сыновей*, пожизненной /в прошлом/ 25-летней служебной каторгой и — что хуже всего — приостановкой и задержкой своего собственного социального развития. Российская империя, как и современная советская, не была русскому народу ни другом, ни братом, ни сватом, как пытаются ныне изобразить некоторые любители старины из числа эмигрантских авторов. Только один-единственный, уже упомянутый нами факт — Российская монархия пала в феврале 1917 года сама по себе, без малейшего физического поползновения на нее со стороны социал-демократов и других партий, — говорит о степени любви к ней русского народа.

Мне кажется, наши эмигрантские публицисты впадают в непростительную для историка ошибку. Причина этой ошибки кроется в законах перспективы. Исходя из факта существования кровавой сталинской диктатуры и советской империи они апеллируют к империи Российской. Конечно, при всей их общности, как империй, между ними есть существеннейшая разница. Палочная дисциплина, кнут, ссылка — несомненно гораздо менее жестокие бедствия, чем пытка, расстрел и кровавый разгул. Сталинская диктатура, несомненно, была более жестокой, более кровавой, более изощренной, чем царское правление, но следует ли отсюда, что царское правление было более благодетельным для народа? Или — Россия — свободной страной? Нет, не следует как-будто. Единственное, что можно признать, не искажая перспективы, — это то, что духовный гнет в старой России был несравненно более легкий. Однако мы знаем, что в России существовала цензура над мыслью и паспортная система, привязывавшая крестьянина к земле. Мы знаем, что декабристов повесили, а других сослали в рудники только за желание свободы, ибо

---

* В интересах краткости отсылаю читателя к пяти авторам, вполне авторитетным, которые, если применить к ним указанный выше подход, вполне могли бы оказаться в разряде очернителей: 1. Тургенев Н. И. Россия и русские, Париж, 1848. 2. Учебные руководства для военно-учебных заведений, руководство статистики России, составил Соколовский, Спб, 1855. 3. Лев Толстой. Патриотизм или мир, 1896; Патриотизм и правительство, 1900. 4. Максимов. Сибирь и каторга, Спб, 1900. 5. Витте /б. премьер-министр России/. Воспоминания, Берлин, 1922.

* Вторжение в Афганистан — самый последний тому пример. */Ред./*

их восстание было бескровным. Чаадаева объявили умалишенным и подвергли домашнему аресту только за опубликование одной единственной статьи в благонамеренном "Телескопе". Мы понимаем, что теперешняя жестокость заслоняет все предыдущие, изгоняет их прочь из нашей памяти и набрасывает на них идиллический покров. Тот же эффект оказывает и время. Прошлые боли становятся часто сладким воспоминанием. Таков механизм психического восприятия или, если угодно, психического угасания. Однако мы бы впали в ошибку и утратили историческую перспективу, если бы дали увлечь себя психологическим искажениям исторической истины.

Ревнители Российской империи, как и ревнители империи советской, обращают свои взоры куда угодно — на хартию английского короля XIII века, на канадский Квебек, на французскую Корсику, на Чехословакию, на Эфиопию, на Японские острова, — только не на интересы русского народа. Возможно, поэтому они не обращают внимания на социально-экономическую закономерность существования всякой империи, которую отметили историки еще в прошлом веке, а именно: интересы населения противоположны интересам империи и тем больше страдают, чем больше расширяются границы империи.

Действие этого закона — как математическое доказательство от противного — можно наблюдать на примере малых народов Европы: Дании, Бельгии, Голландии. На всем протяжении средних веков и в новое время чужие армии — испанская, английская, французская, немецкая — десятки раз завоевывали и перекатывались через их земли. Между тем, народы эти не только выжили, но и сохранили и развили высокий уровень жизни. Откуда такая благодать? Практически, полное отсутствие военного бюджета и массы ненасытных его пожирателей.

Япония стонала под средневековыми военными порядками. /Послушайте старинную японскую песню, и сквозь чуждый лад к вам донесется неизбывное начало русской песни — грусть./ Нападала на Китай. В 1895 году оторвала от него

Корею /при помощи России/, в 1905 году напала на Россию, в 1920 — опять напала на Китай, овладела Маньчжурией, в 1940 атаковала Пирл-Харбор. И вдруг... вышла в самые передовые страны. Шутка ли? Соревнуется в технике с Соединенными Штатами и кое в чем даже их обгоняет. Откуда же это японское чудо? Национальный характер? Цунами? Или островная система ? Нет, дело обстоит гораздо проще: потерпела поражение, прекратила военное производство, резко сократила армию.

Сведущие люди указывают и на другие факторы: дешевая рабочая сила, традиционное трудолюбие, демократические порядки. Мы этого не отрицаем, только уточняем: дешевая рабсила существовала и в старой Японии, более того, средневековая рабсила, как учит политическая экономия, была гораздо дешевле современной. И трудолюбие, я думаю, у японцев не сейчас появилось. И получается в итоге, что, несмотря на влияние других факторов или вкупе с ними, главным и решающим было отсечение военных щупальцев.

Возьмем случай более близкий России. Австро-Венгрия являла собой пример империи с различными национальностями, как и Россия. Законы военной муштры явно преобладали в ней над интересами населения. В то же время застой социальной жизни и феодальные порядки приводили к тому, что производители влачили жалкое существование. Когда же все это изменилось? После распада империи на отдельные государства. Отчего же такая перемена? От того, очевидно, что современные правители Австрии, в отличие от Габсбургов, не имеют возможности и думать о военных авантюрах. Они не имеют этой возможности потому, что не позволяют скромные размеры их сократившегося государства.

С другой стороны, население, имея демократические свободы, контролирует своих правителей, направляя их устремления к внутренней жизни страны. Может быть, распрощавшись с империей, сегодняшняя Австрия являет собой идеальное государство? Нет, и при демократическом режиме существует, естественно, много отрицательных сторон. Просто дело в той громадной относительной разнице между

монархической империей и демократической республикой, в значительном улучшении жизни населения за счет низведения к нулю военного молоха. К тому же, вспомним, что Австро-Венгрия с Габсбургами и ее громадной армией всем мозолила глаза — и Наполеону, и Оттоманской империи, и России. В то время, как на маленькую Австрию, почти лишенную армии, никто как будто не покушается. Так вот, вопрос в том: чему должны отдать предпочтение истинно русские патриоты, — империи или интересам народа?

Допустим, что мы, "очернители" /как назвали Амальрика/, из-за своего испорченного и зловредного характера, надумали просто облить грязью прошлое Австрии. Допустим, что мы просто не пожелали, хотя и могли, обрисовать ее прошлое в более мягких и розовых тонах /как некоторым видится прошлое России/, однако и в этом случае, то есть в случае розового прошлого, нельзя не признать быстрый современный прогресс Австрии по отношению к розовому прошлому. Но сказав А, мы должны сказать и Б, т. е. согласиться с тем, что, если прошлое Австрии было розовым, то еще более розовым является ее настоящее. Как видит читатель, принятая нами точка зрения не зависит от красок, в каких представляется прошлое, а это означает, что, взявшись за анализ предмета, мы придерживаемся твердой почвы объективности. Замечают ли некоторые эмигрантские авторы, что, защищая Российскую империю, они вольно или невольно становятся апологетами империи советской? Сравнение Грузии с канадским Квебеком /в статье г-на Бровцына/ не выдерживает критики, ибо сравнение это — чисто внешнее, оно не учитывает качественной разницы в образовании исторических связей между частями Канады и частями, вошедшими в состав Российской империи. Известно, что Швейцария, как государство, исторически сложилась из трех этнических групп: французов, немцев и итальянцев. До сих пор в стране существует не один, а три равноправных языка. Хотя каждая группа и смотрит более благосклонно на свои страны, — ни одна из них не спешит и не стремится к объединению с ними, несмотря на националистические призывы, время от времени исходившие из Франции, Италии и Германии. Более того, в средние века маленькая кантональная федерация успешно боролась и отразила натиск "родных" государств, каждое из которых в 10 раз превосходило Швейцарию как по площади, так и по населению.

В чем тут дело? При ближайшем рассмотрении вопроса, при сравнении конституции и политических режимов выясняется, что, хотя в окружающих странах и существуют демократические порядки, в Швейцарии их заметно больше, и действуют они несравненно эффективнее. Швейцарцы с законной гордостью говорят: прямая демократия, не требующая ни демонстраций, ни острой политической борьбы. Дело обходится подписанием и сбором петиций, выяснением точек зрения избирателей, голосованием. Перед нами по-настоящему зрелый народ и высшая форма демократии.

Есть ли основание нам, русским, считать себя изгоями человечества, не подверженными влиянию тех же стремлений, тех же социальных законов, которые определяют жизнь других народов? Ни общие, ни частные науки, ни наше собственное изучение предмета такого основания не дают, а если это так, то мы вправе повторить вопрос: чему отдать предпочтение, — интересам советской империи или интересам русского и других народов России, или, может быть, всему понемногу? Но как тогда быть с социально-историческим законом, изложенным выше? Как свидетельствуют факты истории, он опрокинул многие бесплодные мечтания, смел не только искусственные исторические прожекты, но и искусственные границы между народами; он превратил в прах троны многих королей и диктаторов, сравнял с землей многие империи.

Анализ тенденций современного развития советской империи показывает, что, несмотря на деспотические, неосталинистские порядки, внутренний ход событий может оказаться сильнее правителей. Этот ход истории, на наш взгляд, может вполне привести к тому же, к чему пришла современная Австрия. Так или иначе, тешить себя ожиданием нового царя на Руси могут только взрослые дети.

Лидия ВОРОНИНА

ДВЕ ИСТИНЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Любое, даже самое поверхностное, наблюдение над жизнью "простого советского человека" с очевидностью показывает, что коммунистические идеалы давно уже перестали играть сколь-нибудь заметную роль в его мировоззрении. Циническое отношение к идеологической пропаганде стало нормой поведения не только среди молодежи и более-менее просвещенных слоев населения. Над пропагандой смеются и издеваются все от мала до велика, независимо от происхождения, образования, воспитания, национальности, места жительства, исполняемой работы. Кстати, особенно язвительны бывают работники горкомов, райкомов, кагебешники. Я уже не говорю о теоретиках идеологии. Никто не верит в "светлое коммунистическое завтра" самого справедливого на свете строя. Более того, почти все на собственном опыте знают /правда, с разной степенью обоснованности/, что коммунистическая теория где-то по существу не верна, а практика на каждом шагу преступна. В этом смысле А. Солженицын абсолютно прав, когда утверждает, что коммунизм мертв в Советском Союзе.

Но, с другой стороны, почему тысячи "простых советских людей" упорно продолжают быть пионерами, комсомольцами, членами партии? Почему газеты и журналы полны бессмысленных формулировок? Почему "осуждают—клеймят—голосуют" единогласно? Неужели так притягателен искус абсурдности и так блаженно щекочет нервы разряженная опасность игровой ситуации, когда чувствуют одно, думают другое, говорят третье, а действуют уже совсем каким-то десятым образом? Или приятно сознавать, что ты и х умнее, что ты и х обманываешь каждую минуту и обводишь вокруг пальца, как неуловимый легендарный вор какого-либо не менее легендарного сыщика? Или элементарная энерция? Инерция чего? Страха, рабства, житейской мудрости, инстинкта выживания?

Можно попытаться ответить на эти вопросы, если задать их в несколько ином виде. То есть: как возможно функционирование мертвой идеологии в советской социальной системе? Можно ли говорить — и если можно, то в каком смысле — о содержании пустых идеологических догматов? Чем удовлетворяется в обществе "развитого социализма" необходимая для любого общества потребность в положительном мировоззрении, если в с е коммунистические парадигмы выхолощены? Каким образом осуществляется замена — если таковая есть — устаревшей мировоззренческой системы?

Парадоксально то, что никто и никогда не рассматривал коммунистическую идею как положительную мировоззренческую ориентацию, не допуская необходимости открытого насилия, террора или угрозы физической смертью.

Ведь даже в свой золотой век, когда, казалось, официальная советская пропаганда "Построить!" шла в ногу со стихийным энтузиазмом масс — и тогда эта идея нуждалась в поддержке со стороны юриспруденции. Идеология должна была искусственно провоцировать, создавать собственными руками преступников — вроде бы несогласных с ней, — чтобы быть действенной тотально.

Но что происходит сейчас?

Легко убедиться, что идеологии приходится работать гораздо более изощренно в условиях "победившего социализма", чем в годы первых пятилеток или при культе личности.

Любое, самое элементарное размышление над собственной работой и жизнью вызывает в сознании советского человека картину, совершенно отличную от той, что преподносится ему как единственно истинная идеологическими работниками. Вот почему идеология, если она хочет, чтобы ей верили, должна не только убеждать. Как, например, она делала в эпоху разрухи, обещая людям, не споривишим с ней по поводу самого факта разрухи, что в будущем разрухи точно не будет. Сейчас идеология должна п е р е у б е ж д а т ь людей, здравый смысл которых противоречит тому, что она доказывает.

Идеология пробовала многое, чтобы помочь себе усовершенствоваться. Распорядились с самого раннего возраста воспитывать детей в "духе коммунизма". Мне 30 лет и я не была октябренком, а те, кому 28, уже были удостоены. Были открыты и новые "неиссякаемые источники" идеологической энергии. Например, в советском официальном искусстве зазвучала ностальгия по войне, когда все советские люди были объединены великой задачей "Победить!" и стоически переживали все трудности и лишения. Война помогала идеологии восстановить утерянную советскими людьми необходимость жертв во имя чего-то грандиозного в будущем. Это было как раз то, чего не хватало идее коммунизма, чтобы господствовать "в умах и сердцах" советских людей.

Потом призвали на помощь идеологии науку. Работник райкома сейчас не только бубнит, что мяса вдоволь всегда было, есть и будет. Он еще и задание Институту питания дает о разработке новой концепции мяса: рыба — это и есть лучшее из мяс, мясо, так сказать, в его самом развитом виде.

Одновременно были вынуждены повысить уровень идеологической пропаганды с учетом достижений буржуазной культуры, которые проникают в массы по "Голосу Америки", "Либерти", Би-Би-Си. Идеологи стали изучать иностранные языки, ездить за границу... Диалектика, возмужавшая в борьбе с антикоммунизмом, стала настолько изощренной, что ничего не стоило доказать необходимость, полезность любого социального бедствия и нарядить в одежды мудрости самую примитивную политическую ложь. Профессора упражнялись в

силлогизмах... Предварительно — утром, перед лекцией — послушав "Голос Америки"."Нам, идеологическим работникам, в первую очередь нужна свежая информация", — говорил мне как-то один из таких профессоров, читавший курс "Международное рабочее движение" в Московском университете. Штаты таких высокооплачиваемых идеологических работников стремительно росли — в соответствие с законом о повышении роли субъективного фактора в истории. По-видимому, именно кто-то из них придумал сочетать моральные и материальные стимулы в системе поощрений: одной тенденцией к всепобеждающей сытости сыт не будешь.

Ну, а жизнь шла своим чередом: продовольственные кризисы, политическая свистопляска, духовный голод. Переубедить человека даже с помощью науки не так просто. И невозможно вообще. Черное становится белым только с ножом у горла.

Я не могу точно определить момент, когда началось формирование явления, которое по-моему лучше всего описывается в терминах теории двойственной истины, или точнее, двух истин — которую создали люди на рубеже Средневековья и Возрождения. Они создали ее, чтобы освободить науку из-под власти теологии, точнее, обосновать законность самостоятельного существования, самостоятельной ценности науки, утверждения которой часто не согласовались с утверждениями теологии. То, что истинно, согласно принципам веры, истинно в границах веры, а то, что истинно, согласно принципам разума, истинно в границах разума. Сферы действия веры и разума разные — вот почему нельзя противопоставлять не только правильное /неправильное/ с точки зрения веры, правильному /неправильному/ с точки зрения разума, но и вообще веру и разум как таковые.

Когда-то Орвелл прекрасно описал феномен двойственности сознания, которое нормальный человек переживает трагически. Только шизофреники могут жить с расщепленным сознанием, здоровый человек кончает самоубийством. Советские люди отнюдь не страдают от двойственности и тройственности их существа. Им не грозит сумасшествие, по-

тому что они четко разделяют сферы своих разных жизненных функций. Крепкое может быть только здоровье, успехи — только в работе, а счастье — в личной жизни. Пытаться найти, например, счастье в работе значит, как сказали бы современные логики, нарушать интервал абстракций, или смешивать сферы осмысленного употребления определений, как сказал бы приверженец теории двух истин.

Что повлияло на формирование такого подхода к жизни? Самая элементарная причина. Благодаря опыту, все идущее из официального источника, стало рассматриваться как заранее ложное. Ибо: если они врут про то, что я вижу и знаю сам, где гарантия, что они говорят правду о том, чего я не знаю? Однако они определенно правы в том, рассуждает далее простой советский человек, что должны врать, иначе государство, а с ним вместе и вся система жизни развалятся. Я же не хочу никаких катаклизмов, достаточно их было у родителей и у дедушек и бабушек. Так что пусть они себе знают истину неправды, мне это не мешает; хотя и я знаю свою истину, как я знаю и понимаю, но я не буду доказывать и м, что они не правы, потому что их неправда нужна и мне для спокойной жизни..., точнее, для сохранения своей жизни как таковой.

Однако, наряду с повседневностью, приведшей советского человека к возможности допущения двух истин об одном и том же предмете — государственной, идеологизированной, т. е. официальной, и "личной" — случились еще два события несколько иного порядка, которые, на мой взгляд, сильно укрепили эту двойственную позицию.

Первое — это попытка осуществления государством экономической реформы в 1965 году. Само государство показало пример возможного и необходимого разделения истинного с точки зрения теории социалистической экономики и истинного с точки зрения реального процесса производства в Советском Союзе. Очевидное противоречие между первым и вторым разрешалось тем, что "теория" сохранялась для обучения студентов, а "практика" была освобождена от действия, например, теоретического закона

о присущем социалистическому типу производства планомерном образовании цен. И когда руководители предприятий стали действовать не по плану, а по обстановке /хотя и выполняя план/, то простой советский инженер воочию убедился — на зарплате — в преимуществах разделения сфер влияния парткома и администрации.

Мы не обсуждаем сейчас того, насколько экономическая система несла в своем существе свое собственное отрицание. Важно другое: влияние этого экономического эксперимента на сознание советского инженера, который мог теперь вполне резонно спросить самого себя: "Если государству можно разделять идеологическое и реальное, то почему мне нельзя?"

Второе — факт существования диссидентов в Советском Союзе, людей не только имеющих свое собственное, неофициальное мнение обо всем, что происходит в Советском Союзе, — таких тысячи — но открыто высказывающих это мнение — таких всего сотни. И эти сотни, в первую очередь, оказывают влияние на "простых советских людей" не своим поведением /судьба тюрьмы прельщает далеко не многих/ и не своими идеями /уже нужна некоторая подготовка, чтобы их понять, а не отмахиваться, как от мух, мол, какая свобода слова, когда есть нечего/, но фактом своего существования, фактом, указывающим непосредственно на возможность думать самостоятельно.

Итак, следовательно, фундаментальная мудрость простого советского человека сейчас состоит в следующем: жизнь — это жизнь, идеология — это идеология. Не смешивайте контексты!

Не найдете ни одного, который бы строил коммунизм. Не найдете ни одного, который бы жертвовал чем-либо /да и нечем/ ради великого будущего благосостояния. Люди прежде всего стараются жить, что весьма трудно в развалленном обществе. Надо быть очень изобретательными, чтобы обойти, как минные поля, все преграды, понастроенные советской властью, на пути — к еде, к жилищу, к образованию, к медицинскому обслуживанию, к культурным ценностям, к науке — ко всему, что жизненно необходимо и

имеет жизненную ценность. Не случайно слово "достать" стало универсальным, с его помощью можно описать ситуацию получения любой ценности, как материальной, так и духовной. "Где достали?" — спрашивают о пучке зеленого лука зимой. "Где достали?" — спрашивает о книге Шрагина следователь на допросе.

Люди должны обманывать государство, втирать ему очки, как будто бы соглашаясь с ним. Какая уж тут борьба "за правду", когда надо купить в обед что-то на ужин. Вот несколько примеров того, как люди разных возрастов научились не только разделять "общественное" и "частное" и жить раздвоенно, но и использовать "общественное" в личных целях, в целях сохранения своей жизни.

Школьникам ничего не стоит под прикрытием "Помогите детям Вьетнама!" ходить по квартирам и собирать деньги... на мороженое.

Постарше пионеры вступают в комсомол, чтобы получить характеристику, где подчеркивается их "общественно-политическая активность"; она нужна для поступления в институт.

Студенты вступают в партию, чтобы остаться в Москве или Ленинграде, где они учились, и не ехать обратно в провинцию. У горкомов и райкомов /комсомольских и партийных/ есть специальные лимиты на прописку.

Молодые специалисты, уже с семьями.... Надо обеспечить квартиру. Вступил в партию — больший шанс подняться побыстрее по служебной лестнице, больший шанс повышения в зарплате, большая вероятность, что будешь в состоянии выплачивать взносы за кооператив... и т. д. А вдали маячат дачи, машины, пайки, ателье, санатории, заграничные фильмы и даже... поездки за границу. Как выразился один мой знакомый, "партия — это дорога к кормушке". И не подумайте, что "жизнь наверху" какая-то суперроскошная, просто она там более или менее нормальная. А люди устали от постоянных-временных затруднений, они не хотят "умирать от постоянных улучшений".

Вот этот мотив, мотив "в обмен на..." есть основное

в причинах пополнения рядов коммунистов. Любопытно, что ни комсомол, ни партия в действительности не требуют от своих членов искренности. Никто не интересуется /да и как проверить?/, верит или нет будущий адепт в коммунизм, разделяет или нет точку зрения "Правды", готов или нет служить и умереть за дело... Никому из горкомовских работников в голову не приходит серьезно рассуждать о "взглядах". Кто-кто, а они знают, насколько это понятие растяжимое. Противоречить или не противоречить можно только тому, что определенно. Чего нельзя сказать о весьма эластичном наборе формулировок, условно называемом коммунистическим мировоззрением. "Как ты достиг того, что тебе почти ничего не приходится доставать?" — "Отклонялся вместе с линией партии..." А диссиденты, с точки зрения большинства, — сумасшедшие, они искренни в своих убеждениях, наивные дети, в лучшем случае, хотя непозволителен такой инфантилизм в их-то годы.

Говорит ли факт существования в Советском Союзе безличной мертвой идеологии, идеологии, не нуждающейся в моральной и интеллектуальной энергии живых людей, об усилении ее могущества? Можно ли сделать вывод о том, что в Советском Союзе действительно создана социальная система, полностью подчиняющая себе индивида? По-видимому, нет. Ведь чем глубже раздвоенность реального существования людей, тем настойчивее их потребность в преодолении этой раздвоенности. Да, вывод об усилении коммунистической идеологии на стадии ее безличного существования, ее функционирования, как средства социальной интеграции, был бы правилен, если бы люди не становились более и более самостоятельными в своей социально не интегрированной деятельности, если бы они абсолютно перестали удивляться "мистике" повседневного двойственного существования, если бы принимали как должное отсутствие возможности положительного морального поведения в обществе. Вывод был бы правилен, если бы в Уголовном кодексе не появились статьи 70, 190, 228. По-настоящему сильное — будь то человек, государство, теория — не боится никаких критических условий,

аргументов, выпадов и пр. А коммунистическая идеология боится диссидентов, всех диссидентов, независимо от их ориентации и взглядов: еврейских активистов, "националистов", "либералов", "демократов", "монархистов-реакционеров", "христиан", "толстовцев-непротивленцев", "заговорщиков-сверженцев", "реставраторов допетровской духовности", "истинных марксистов", "абстрактных гуманистов", "блюстителей восстановления ленинских норм", "странных поэтов и художников", а также пьяных рабочих и крестьян.

Я не ответила на вопрос, сформулированный в начале статьи: Если коммунистическое мировоззрение уже не способно исполнять свои задачи, чем удовлетворяется в обществе "развитого социализма" необходимая для любого общества потребность в положительном мировоззрении?

Если происходит какая-то подмена, то чем и в каких формах это происходит? Однако эти вопросы настолько серьезны, что рассмотрение их требует анализа не только Советского периода в истории Русского государства, но каких-то глубинных привычек русской культуры вообще, а это уже предмет самостоятельной статьи.

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В состав редколлегии журнала "Время и мы" вошел журналист и писатель Илья Суслов, автор опубликованной в нашем журнале /№ 3, 4/ повести "Прошлогодний снег", в прошлом — организатор и фактический руководитель клуба "12 стульев" "Литературной газеты".

ВЕСТНИК РХД № 130

От редакции: К новому десятилетию — Н. Струве
БОГОСЛОВИЕ
Проповедь о мытаре и фарисее — архим. Плакид Десей/Франция/
Таинство благодарения — прот. А. Шмеман /США/
Памяти прот. Г. Флоровского — прот. К. Фотиев /США/
Евхаристия и соборность — о. Г. Флоровский
Из писем о. Г. Флоровского Ю. Иваску
Св. Филипп митр. Московский — Н. В. Первушин /Канада/
Христианство и иудаизм
Борьба вокруг Ветхого Завета в России перед революцией — М. Агурский /Израиль/
Вопросы педагогики
Учение К. Д. Ушинского о воспитании /окончание/ — В. Я. Василевская /Москва/
В мире книг
Пора надежд — Н. Шеметов /Москва/

ФИЛОСОФИЯ
Великий молчальник — В. Зелинский /Москва/
Перед Сахарной — В. В. Розанов
Письма С. Н. Булгакова В. В. Розанову — публ. Ю. Иваска/США/
В мире книг
В. Розанов. Религия и культура — Н. Струве

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
Стихи — Ю. Кублановский /Москва/
Глава из Узла II, "Октябрь Шестнадцатого" — А. Солженицын
В. Ф. Ходасевич — Мартин Сикссмит /Англия/
Из литературного наследия В. Ф. Ходасевича
Князь Д. П. Святополк-Мирский о П. Б. Струве — Г. П. Струве /США/

СУДЬБЫ РОССИИ
Вопросы общественности
На злобу дня — прот. А. Шмеман /США/
О демократии и авторитаризме — Н. Струве
Вопросы эмиграции
Из дневника — о. Сергий Булгаков
Русская Церковь сегодня
Из Отчета совета по делам религии — членам ЦК КПСС
Вестник читают в России
Письма в Редакцию
Приложение
Коммунизм у всех на виду — и не понят — А. Солженицын

"От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры.

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,

С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины.

Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю".

/1 1 Посл. ап. Павла к Тимофею, 2, 23-26/

Н. ПРАТ

СЕРЬЕЗНАЯ ДИСКУССИЯ И ЭМИГРАНТСКИЕ ССОРЫ

Русская эмиграция разных поколений с увлечением предается традиционному эмигрантскому времяпровождению — распрям, по-видимому, компенсируя себя за невозможность заниматься чем-либо иным, более конструктивным. Можно было бы с пренебрежением отвернуться от не слишком приятного зрелища всеобщей потасовки и заткнуть уши, чтобы не слышать разнобоя голосов, хором выкрикивающих поношения в адрес собратьев по изгнанию, если бы в остервенении эмигрантских ссор не проглядывало бы нечто, более серьезное, чем естественная, хотя и прискорбная, раздражительность людей, оторванных от родины и вынужденных постоянно вращаться в слишком узком кругу подобных им изгнанников.

Щекотливому вопросу об эмигрантских ссорах посвящены две чрезвычайно интересные статьи в №23 журнала "Континент", принадлежащие перу людей, чьи имена вызывают

глубокое и заслуженное уважение у каждого, кто знаком с историей правозащитного движения в России. Это статья Валерия Чалидзе "О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике" и ответная статья Владимира Буковского "Почему русские ссорятся?" Авторы этих статей не нуждаются в рекомендации. Чалидзе — видный деятель правозащитного движения в СССР, один из создателей своеобразной неполитической идеологии этого движения. Буковский, бесстрашный рыцарь движения в защиту прав человека, заслужил столь высокий моральный авторитет, что каждое его слово, особенно печатное, приобретает огромный вес. Если Буковский, как правило, воздерживающийся от участия в эмигрантских перебранках, счел необходимым вступить в дискуссию со своим бывшим соратником и единомышленником, значит, у него были для этого самые серьезные основания. Особый интерес представляет то обстоятельство, что дискуссия ведется между двумя представителями одного направления свободной русской общественной мысли, одинаково стоящими на правозащитной почве. Едва ли можно ожидать какой-либо пользы от дискуссии между людьми, говорящими на разных языках, скажем, между Игорем Шафаревичем и Роем Медведевым, если бы даже такая дискуссия была возможна*. К сожалению, обмен мнениями между Ча-

* Существует и еще один случай, когда дискуссия оказывается лишенной смысла. Это когда ее участники, например, печатные издания, выходят за рамки общепринятой журнальной этики, пытаясь завоевать читателей всякими литературными и внелитературными скандалами. В Израиле такого рода примером служит именующий себя свободной сионистской трибуной и созданный с помощью израильского Министерства иностранных дел журнал "22", куда, кстати, перешла сотрудница нашей редакции Н. Рубинштейн. В своем запоздалом верноподданничестве сионизму Н. Рубинштейн заклинает читателей разглядеть антисионистскую сущность журнала "Время и мы" и в благородном порыве свести счеты со вчерашними коллегами переходит от жанра изящной словесности к несколько менее изящному жанру литературного доноса. Бессмысленна дискуссия между Шафаревичем и Роем Медведевым. Не видим и мы возможности разговора в жанре, предложенном Н. Рубинштейн, и потому впредь, сколько бы страниц "изящной словесности" нам не посвящал журнал "22", мы не будем ему отвечать и ставим на этом точку. */Прим. ред./.*

лидзе и Буковским также вызывает разочарование. В особенности разочаровывает статья Буковского — не потому, что его возражения Чалидзе неправильны, а потому, что уровень и стиль его аргументации совершенно не соответствуют серьезности затронутой темы.

Статья Чалидзе представляет собой изложение определенной, четко сформулированной позиции, идущей вразрез с господствующими в русской эмиграции настроениями. Не только самым талантливым выразителем, но и мощным генератором этих настроений является давнишний недоброжелатель Чалидзе А. И. Солженицын. Полемике со взглядами Солженицына и посвящена, в первую очередь, статья Чалидзе. Напечатанная первоначально в сокращенном виде в газете "Новое Русское Слово" под несколько сенсационным названием "Хомейнизм или национал-коммунизм", эта статья в "Континенте" получила новое, нейтрально звучащее название, сохранив, однако, всю свою полемическую остроту. Следует отметить, что позиция Чалидзе существенно отличается и от позиции, на которой стоит редакция журнала "Континент". Публикация на его страницах "еретической" статьи Чалидзе выглядит не столь уж частым в эмиграции актом терпимости и демократизма. Весьма знаменательно, что в пользу публикации статьи Чалидзе в "Континенте" счел необходимым высказаться Андрей Сахаров — "светлейший, гуманнейший человек, совесть России", как говорится в письме-протесте, напечатанном на обложке этого номера журнала. Открытое письмо Сахарова в редакцию "Континента", членом которой он числится, содержит положительную оценку статьи Чалидзе вместе с пожеланием, "чтобы журнал был достаточно широким и печатал дискуссионные статьи, не всегда совпадающие со взглядами всех членов редколлегии". Редакция, со своей стороны, сочла нужным указать, что с самого начала не возражала против публикации статьи Чалидзе. Все эти обстоятельства заслуживают упоминания, потому что терпимость к чужим взглядам и готовность их выслушивать не принадлежит к обычным добродетелям русских эмигрантов.

Каковы же те тенденции в эмигрантской публицистике, которые вызывают беспокойство Чалидзе? Чалидзе опровергает то, что представляется ему эмигрантскими легендами: предсказание о скором крахе коммунизма и утверждение о том, что русский народ питает ненависть к коммунистам. Он призывает эмигрантов отказаться от иллюзий, являющихся признаком духовной слабости, и оказывать духовную поддержку народам России, не питая надежды на успех, подобно тому, как действовало в советских условиях правозащитное движение. Далее Чалидзе подвергает резкой критике взгляды Солженицына, пользующегося неоспоримым авторитетом в среде русских эмигрантов. Чалидзе обвиняет Солженицына в культивировании антизападных настроений, в непонимании и поношении права и юридических гарантий прав человека, в карикатурном изображении роли западной прессы, в идеализации царской России и глубокой неприязни к либералам, равно как и к правозащитному движению, в политизации религии, в проповеди националистического авторитаризма, прокладывающего дорогу "национал-коммунизму" в СССР.

"Вся страсть его речей о Западе, — говорит Чалидзе о Солженицыне, — обращена к людям в России, и призыв в них один: не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского". Хотя Чалидзе и готов признать моральную правоту Солженицына во многих его упреках Западу, он тут же сводит это признание на нет, выступая безоговорочным защитником обобщенного "Запада" практически во всех его действиях и даже в его бездействии. Эта апологетика Запада представляет собой самое слабое и уязвимое место аргументации Чалидзе. Так, например, Чалидзе продолжает настаивать на предпочтительности наемной или добровольческой армии перед всеобщей воинской повинностью в то время, когда многие компетентные люди полагают, что отмена воинской повинности в США катастрофически уменьшила способность этой сверхдержавы к осуществлению смелых и требующих определен-

ного риска военных операций. Это лишь один из примеров сомнительных утверждений, содержащихся в статье Чалидзе. Спор с ним вполне оправдан и даже необходим. Вместе с тем, борьба Чалидзе против того, что он называет "дурными проявлениями национализма" /в отличие от национального возрождения, которое он приветствует/, кажется мне весьма своевременной и заслуживающей всяческой поддержки. Когда Чалидзе осуждает все чаще появляющиеся в эмигрантской публицистике расистские мотивы /"кровяные аргументы"/, указывает на политизацию патриотизма и духовный изоляционизм как на характерные черты авторитарно-националистических настроений, все более набирающих силу в русской эмиграции, когда он обличает популярное мнение о неприемлемости демократии для русского народа, он прав полностью и безоговорочно. В эмигрантской публицистике редко можно встретить более справедливую и бескомпромиссную критику расхожих представлений о причинах русской революции, чем та, которая содержится в статье Чалидзе. Чалидзе отвергает обе вульгарные точки зрения на эту проблему, бытующие в среде эмиграции, — националистическую и псевдозападническую. Он справедливо усматривает в них "свидетельство непомерной политизации истории". Однако острие его критики направлено против первой из этих примитивных "теорий", всячески насаждаемой Солженицыным и его последователями. Эта "теория" преследует, согласно Чалидзе, следующие цели: "...во-первых, показать ядовитость марксизма, то, что он всегда приведет к концентрационным лагерям; во-вторых, напомнить, что марксизм — это западный яд: берегись развратного Запада; в-третьих, идеализировать царскую Россию". Чалидзе совершенно прав, утверждая, что дискуссия с марксизмом должна вестись на теоретической почве и что одна ссылка на бесчеловечную практику нынешнего коммунизма не может опровергнуть теории Маркса. Он попадает в самое сердце критикуемой теории, указывая, что она пытается представить не только октябрьскую, но и февральскую революции 1917 года случайным успехом кучки чуждых России заговорщиков, а не событием, имеющим глубокие корни в истории России. И совершенно справедливо указывает Чалидзе на связь между идеализацией царской России и проповедью авторитаризма как формы правления, более приемлемой для русского народа, чем растленная и бессильная демократия западного образца.

Мне кажется, что идеализация авторитаризма гораздо опаснее той идеализации западной демократии, которую можно обнаружить у Чалидзе. Компрометация идеи прав человека наносит тяжкий удар делу борьбы за эти права в Советском Союзе. Нужно сказать со всей определенностью: противопоставление идеи религиозно-национального возрождения идее правозащитного движения немало способствовало кризису этого последнего и явилось одной из причин нынешней эмигрантской распри.

Чалидзе отрицает, что в сегодняшней России происходит религиозное возрождение. "Нынешнее усиление интереса к православию в России, — говорит он, — можно назвать православным возрождением не более обоснованно, чем правозащитное движение назвать политическим возрождением народа". Не знаю, не берусь судить, верно ли это утверждение, однако совершенно правильным представляется мне протест Чалидзе против политизации православия, превращения его в соединении с национализмом в идеологию будущего авторитарного строя в России. Худшего соблазна для православия не придумал бы его злейший враг. Если в наше время стало возможно говорить о православном возрождении, если церковь привлекает к себе ищущие правды сердца, этому немало способствовало освобождение церкви от греховной связи с земной властью и жестокие гонения, которые она претерпела от власти безбожной и бесчеловечной.

Трудно представить, чтобы будущий "национал-коммунизм" совершенно отказался от вывески марксизма-ленинизма, составляющей единственную легитимизацию режима, однако вполне можно представить в будущем попытку активного использования церкви в интересах власти, отчасти подобную той, которую предпринял Сталин в дни военной

опасности. Как это ни прискорбно, но кровавый сталинский режим в годы Второй мировой войны стал поневоле защитником жизненных интересов России. И спасая отечество в страшной борьбе, русский народ спас и своих угнетателей. В этом великая трагедия России. Можно по-человечески понять тех, кто хотел бороться с тиранией Сталина с оружием в руках и пытался использовать для этой цели немцев. Можно отрицать право сталинского режима судить этих людей: многие из них были военнопленными, которых Сталин покинул в беде и объявил изменниками. Можно возмущаться выдачей западными союзниками этих людей в руки сталинских палачей. Но нельзя на этом основании оправдывать и восхвалять генерала Власова и его сообщников, изменивших России в самый тяжкий для нее час. Их расчеты на то, что Гитлер поможет им свергнуть большевиков и уйдет, были слишком наивны, чтобы быть искренними. И даже если они добросовестно заблуждались, их можно было бы пожалеть, но нельзя ими восхищаться и ставить их в пример. Ясное понимание природы власовского движения, культ которого столь распространен в эмиграции, составляет одну из самых ценных особенностей статьи Чалидзе.

Чалидзе выступает в своей статье бескомпромиссным защитником идеи права. Эта идея слишком часто недооценивается русскими мыслителями и публицистами, которые, следуя традиции, восходящей к славянофилам, считают эту идею изобретением бездушного Запада, чуждым русскому народу. Может быть, Чалидзе недостаточно понимает необходимость религиозного обоснования права и дополнения его идеей служения. Но если человечество и нуждается сегодня в том, чтобы ему напомнили об идее служения, то русский народ более всего нуждается в реализации начал права, ежедневно и ежечастно попираемых русской действительностью.

Статья Буковского озаглавлена "Почему русские ссорятся?" — причем, заглавие взято в кавычки, подчеркивая, что вопрос — чужой. Для автора этого вопроса не существует. Он полагает, что вопрос о разногласиях в среде русских эмигрантов искусственно раздувается западной прессой с

целью подрыва движения за права человека. Американская пресса вызывает у него те же недобрые чувства, что и у Солженицына. Только Буковский, пожалуй, еще более резок в своих оценках. Получается карикатура — и злая — не только на американскую прессу, но и на весь Запад как таковой. Правые и левые — все одинаково мечтают, по мнению Буковского, положить конец деятельности диссидентов. Кругом одни враги: "Да, в этом наша беда. Мы "между двух стульев", мы им здесь всем, всему истэблишменту одинаково ненавистны. Ни одна реальная политическая сила нас не поддерживает. Поддерживает же нас симпатия людей, с политикой не связанных. На них-то и нацелена теперь массированная газетная кампания".

Коварный план западной прессы состоит в том, чтобы удушить подлинных диссидентов руками поддельных, специально для этой цели созданных. Тут, конечно, на первом месте зловредные "братаны Медведевы", которые ловко пакостят, где только возможно. Эткинд, согласно Буковскому, — "диссидент по несчастью и всегда отличался поразительным чутьем конъюнктуры, сделал себе карьеру /!/ на неожиданно модной теме эмигрантских распрей /заработав звание видного представитепя советской "левой оппозиции"/. О Синявском /не называя фамилии/: "Вздорные, желчные излияния человека, затырканного своей не в меру бойкой женой".

Создается впечатление, что лучшим способом опровержения мнений, расходящихся с его собственным, Буковский считает очернение оппонента. Что с ним говорить, с нехорошим человеком! Хотя этот прием издавна считается логической ошибкой, носящей специальное имя — argumentum ad hominem — Буковский пользуется им сплошь и рядом.

Все же для некоторых он делает исключение — снисходит до спора по существу из уважения к прошлым заслугам. К числу этих счастливчиков относится Чалидзе."Статья Чалидзе,— говорит Буковский,— первая статья честного человека на

модную тему, и если, скажем, Янову отвечать нелепо, а с Синявскими пусть прогуливаются душеведы, то Чалидзе, бесспорно, заслуживает честного ответа".

Буковский не собирается, однако, защищать или оправдывать Солженицына, потому что расходится с ним во взглядах, по собственному утверждению, не меньше, чем с Чалидзе. Более того, он даже готов согласиться со многим, сказанным в статье Чалидзе. Однако в статье, по мнению Буковского, сильно влияние распространенных интеллигентских мифов и страхов. Интеллигент Чалидзе "пытается судить о предмете, ему вовсе незнакомом — о народе". Богатый — что и говорить! — жизненный опыт Буковского позволяет ему исправить ошибку Чалидзе. Буковский тут несколько кокетничает своей способностью легко сходиться с любым попутчиком /или сокамерником/, распив с ним по стакану водки или спирта /чаю — в лагерных условиях/. Эта завидная особенность его характера внушает ему чувство превосходства перед хлипким интеллигентиком, неспособным причаститься субстанции народной, вкушая любимый напиток народа.

Есть в этих рассуждениях Буковского привкус традиционной антиинтеллигентской демагогии, которой издавна охотно пользуется власть, не шибко жалующая грамотеев. Противопоставление интеллигенции народу особенно нелепо в современных условиях. Как будто интеллигенция не часть народа! Но для Буковского народом, по-видимому, являются, по старой, славянофильско-народнической традиции, только наименее образованные его слои, "чернорабочие массы", как говорил Бакунин. Эти массы питают, по характерному выражению Буковского, "дремучую ненависть" к власти и презрение к рядовым коммунистам.

К сожалению, Буковский не оговорился. Дремучая ненависть, не просветленная ни одним лучом политического сознания, легко может быть направлена по ложному адресу. Сам Буковский пишет, как простые люди в большинстве одобряли оккупацию Чехословакии, которую интеллигенция — хоть не всегда открыто — но осуждала. И когда Буковский насмехается над фразой Чалидзе "...у них нет альтернативной идеи для принципиального, политически значимого недовольства", он не понимает, что именно идея делает недовольство политически значимым. Вообще же, возражения Буковского сводятся просто к придиркам, потому что принципиального расхождения между ним и Чалидзе, как оказывается, нет: "В основном, принципиальный наш вывод совпадает. Ненависть не означает близких перемен, революций в любом случае /и слава Богу, а то с таким запасом ненависти, который накопился в стране, миллионам скрутят голову/". Зачем же нужно было упрекать Чалидзе в том, что он боится народа?

Буковский, несомненно, прав, когда называет рассуждения Чалидзе о тенденциях в критике Запада одним из самых слабых мест его статьи. Но это правильное замечание превращается у Буковского в повод охаять американскую прессу за отсутствие "идеологической четкости". Буковский испытывает тоску по привычной с детства черно-белой картине мира: "Вот наши, а вот немцы". И когда оказывается, что американские журналисты не всегда умеют провести отчетливую границу между "нашими" и "немцами", Буковский "кусает ногти и злится". За этот "классический американский журнализм" и достается Чалидзе от Буковского больше всего. Не стану уверять, что Буковский здесь всегда неправ. Иной раз так хочется ясности, что забываешь о нюансах и полутонах. Сказано ведь: "Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет", а что сверх этого, то от лукавого" /Матф. 5, 37/. Но что же делать, если действительность сложна и не укладывается в знакомые формулы? Буковский, впрочем, намекает, что эмигрантская пресса, пожалуй, хуже американской, что от чтения ее можно, пожалуй, и голову потерять. А уж эмигрантская-то пресса не страдает отсутствием четкой идейной позиции.

Пресловутый вопрос "разрядки" относится к числу тех, которые не допускают простого утверждения или отрицания, безоговорочного приятия или неприятия. Не было бы детанта, не было бы и возможности оказывать давление на Советский Союз, вызволять людей из заключения.

А с другой стороны, в детанте явно кроется опасность сдачи Западом своих позиций, опасность капитуляции перед ли-

цом угрозы агрессии, опасность отказа от поддержки тех, кто борется против нарушения прав человека. Эта последняя опасность особенно волнует Буковского, и это можно понять. И в страхе перед опасностью предательства — опасностью реальной, хотя и преувеличенной — Буковский нападает на американских либералов, пугает Чалидзе будущим либеральным президентом /"хлебнете тогда горюшка"/ и предсказывает шутливо, но невесело: "Ведь всех продадут, всех как есть". О европейских странах Буковский говорит и вовсе непочтительно: "Немцы все на карачки норовят встать, как у нас в биологии выражаются — "в позу подставления". Французы, те чтоде великая нация. Всегда сами по себе, как кошка у Киплинга, но както все больше с СССР. За мелкими я уж не угляжу, сил нет".

Скажете — грубо, карикатура? Да, конечно. Но как всякая карикатура, отражает какие-то важные стороны действительности, недоступные объективному, натуралистическому рисунку. Запад можно и нужно критиковать, напоминать ему о грозящей опасности. И когда Чалидзе готов слишком многое прощать Западу за его плюрализм, сарказм Буковского вполне оправдан.

Однако, когда карикатурный образ Запада подается как его точная фотография, когда расписывается кричащими красками поход американской прессы против диссидентов, когда американская интеллигенция приравнивается к КГБ, а американские университеты изображаются как рассадник опасного и злонамеренного идиотизма и утверждается, что они выполняют "социальный заказ" /чей?/, распространяя заведомую клевету на диссидентов, не поддавшихся тлетворному влиянию либерализма, хочется воскликнуть: "Довольно, все это не так просто!" Трудно, например, поверить утверждению Буковского, что Некричу не продлевают контракт в американском университете, потому что он слишком "правый". Тут что-то не то. Изображая американских либералов пособниками Кремля, чья совесть отзывается лишь на беззакония, творимые друзьями США, но молчит, когда во много раз более страшные преступления совершают режимы, именующие себя "прогрессивными", Буковский явно перегибает палку. В конце концов, не советовал ли сам Солженицын каяться пре-

жде всего в собственных грехах?

Впрочем, Солженицын для Буковского отнюдь не является безусловным авторитетом. Сообщив читателю об отсутствии у него намерения защищать Солженицына, Буковский все же берется за опровержение обвинения, выдвинутого Чалидзе против Солженицына по поводу нападок последнего в Гарвардской речи на демократию и свободу печати. Не все в этой речи нравится Буковскому. Ему претит проповеднический и морализаторский тон, усвоенный Солженицыным с тех пор, как пророк все больше теснит в нем писателя. Однако, не обнаружив в тексте Гарвардской речи знакомых советских штампов, приписываемых ей Чалидзе, Буковский сердится. Действительно, аргументация Солженицына не вполне советская — она скорее традиционная, романтическая, восходящая к эпохе европейской реакции XIX века. Она напоминает скорее Победоносцева /"Великая ложь нашего времени"/, чем газету "Правда". При всем том она определенно направлена против недостатков /подлинных или воображаемых/ западной демократии. Кто только не ругал ее, пользуясь аргументами, чрезвычайно похожими на солженицынские! Для тех, кто разделяет мнение Черчиля о демократии как о худшей из форм правления, за исключением всех остальных, аргументы подобного рода едва ли могут быть убедительны. Не нужно идеализировать демократии западного типа, чтобы признавать ее преимущества перед всякого рода авторитаризмом, в том числе и перед тем, который рядится в теократические одежды. "И нужно признать, — говорит Н. Бердяев, — что демократия есть наименее утопическая форма, наименее абсолютная, наиболее соответствующая греховной природе человека". Хотя демократия и не является идеалом, поскольку идеального государства вообще быть не может, она менее всего может быть использована против человека. Поэтому критика демократии, преследующая цель замены ее иным, идеальным политическим устройством, содержит в себе опасность тоталитаризма, цвет которого имеет второстепенное значение.

Но правда ли, что Солженицын, как уверяют его многочисленные критики, непримиримый враг демократии и сторонник авторитаризма? На основании того, что было им написано

по этому вопросу, едва ли можно сделать столь категорический вывод. Солженицын защищает, как мне кажется, не авторитаризм как таковой, но то, что С. Л. Франк назвал "духовными основами общества", авторитет не земной, а небесный. Конкретные формы государства могут быть различными, они зависят от условий места и времени. Однако государство держится, в конце концов, не силой тех или иных учреждений, но скрепляющей их силой духа. Так, во всяком случае, можно истолковать социальную философию Солженицына, в отличие от его суждений о тех или иных конкретных политических или исторических событиях и проблемах. Вероятно, Буковский прав, когда говорит, что Солженицын — не политик.

Примеры политической наивности, пристрастности и некомпетентности Солженицына, приводимые Буковским, можно множить и множить. К сожалению, решение Солженицына выступить против либерализма во имя национально-религиозного возрождения имело самые пагубные последствия. Солженицын и его единомышленники вдохновлялись примером "веховцев", отважно бросивших вызов традиции интеллигентской беспочвенной революционности накануне великой катастрофы. Но время было не то, интеллигенция не та, а революция России никак не грозила /Солженицын, возможно, думал бы тогда иначе/. Сборник "Из-под глыб", возвестивший миру о рождении нового направления мысли в России, бесконечно далек — вопреки намерениям его составителей — от сборника "Вехи". Но обсуждение этой темы завело бы нас слишком далеко...

Буковский демонстрирует остроту присущей ему "политической интуиции", в нескольких абзацах развенчивая идею революции, показывая, что революция в сегодняшней России и невозможна и ненужна. Политического воспитания народа для свободы Буковский ожидает от длительной борьбы общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбы, в процессе которой тоталитаризм все более будет вытесняться крепнущими элементами демократии. Думается, что если освобождение когда-либо наступит в России, то именно этим путем. Героическая борьба самого Буковского и его соратников вселяет надежду в отчаявшихся. Невозможно поверить, что России вечно суждено пребывать в рабстве, если она рождает таких людей, как Солженицын, Сахаров, Буковский.

Так почему же идея религиозного возрождения должна противопоставляться идее борьбы за права человека? Зачем эта бессмысленная междоусобица? Почему сторонники правозащитного движения не могут корректно и сдержанно дискутировать друг с другом? Как правильно говорит Буковский, "зачем горячиться, почему для Солженицына именно сейчас враг № 1 — либералы, а для других враг № 1 — Солженицын, точно уже нет советской власти?"

Буковский связывает это болезненное явление с особенностями эмигрантского быта. Это, конечно, верно. Но этого недостаточно, чтобы объяснить царящие в русской эмиграции разброд и атомизацию, решительное преобладание центробежных сил над центростремительными.

Собственно, жестокая атака Солженицына и его единомышленников на либералов, "образованщину" и "демдвиж" началась еще в России. Можно, конечно, предаваться спекуляциям на темы внутренней эмиграции, влияющей на характеры подобно внешней, однако остается фактом, что начало междоусобице было положено разногласиями, возникшими внутри, а не за пределами России. Причем создавшаяся напряженная обстановка в немалой степени была обусловлена самой возможностью эмиграции. Для Солженицына эмиграция — это дезертирство. Лишь эмиграцию евреев в Израиль, обусловленную религиозными и национальными чувствами, он готов был принять и одобрить. Но не эмиграцию тех, кто считал себя связанным с Россией. Буковский же, мыслящий не национальными, но правовыми категориями, рассматривает эмиграцию как огромное завоевание правозащитного движения. Это лишь один из пунктов, вызывающих разногласия, психологически весьма важный. Парадоксальная ситуация: в эмигрантской среде эмиграция рассматривается как проявление постыдной, едва ли не преступной слабости. Причем сторонники этого взгляда оправдываются тем, что сами эмигрировали не добровольно.

У меня почему-то возникают в этой связи ассоциации /возможно, совсем неоправданные/ со сталинским отношением к попавшим в плен советским солдатам и офицерам: как посмели сдаться? Почему не погибли? Практические последствия рассматриваемых явлений, конечно, несравнимы, но психологические их предпосылки свидетельствуют о странном родстве. Буковский совершенно справедливо замечает по поводу этого максималистского постулата Солженицына: "Ведь нельзя же ждать от народа, чтобы он и теперь, дружно, миллионами, кидался на чекистские амбразуры". Он считает, что возможность эмиграции способствовала тому, что сопротивление властям стало рассматриваться как реальная возможность несравненно большим, чем раньше, числом людей.

Открытое недоброжелательство Солженицына по отношению к третьей эмиграции выпустило джина эмигрантских раздоров из бутылки. И тут обнаружилось, как удивительно схожи бывают подчас психические реакции новых эмигрантов с предполагаемым типовым поведением советского человека в сходной ситуации. Советский человек видит повсюду врагов. Враги сильны, коварны, однако достойны презрения /логическая непоследовательность не беспокоит тоталитарное мышление/. И вся-то наша жизнь есть борьба с непрерывно атакующим, наседающим со всех сторон врагом. Тоталитарное сознание склонно объединять всех своих мифических /мифических, даже, если они подлинные, ведь тоталитарное сознание непрерывно творит мифы из элементов действительности/ врагов вокруг единого центра, некоего вселенского источника зла. В мире есть только два лагеря: "они" и "мы", и кто не с нами, тот против нас. Так как тоталитарное сознание требует абсолютного единомыслия, любое несогласие воспринимается как переход в стан врага, и всякий, осмеливающийся ставить под сомнение пусть не главный — самый несущественный элемент системы взглядов, воспринимаемой целиком как сакральная, подлежит немедленному отлучению и проклятию.

Тоталитарное мышление легко вырастает из идеологии апокалиптических сект, члены которых считают себя сынами света, а всех прочих — сынами тьмы, обреченными на гибель. Такая сектантская психология характерна для узких организаций профессиональных революционеров, борющихся с сильным и опасным врагом. Многое из этой психологии было в свое время обличено авторами "Вех". К сожалению, некоторые элементы этой психологии можно обнаружить у Буковского, сознательно чуждого всякой революционности, но психологически какими-то сторонами своей личности напоминающего русского революционера прежних лет. Это говорится не для того, чтобы оскорбить одного из самых замечательных наших современников, но для того, чтобы объяснить себе и другим некоторые особенности его публицистики.

Герой Буковский достоин величайшего уважения. Но не забудем, что статья С.Булгакова в "Вехах" противопоставляет "героизму" — "подвижничество". Грань между этими понятиями подчас неуловима, но всегда реальна. Буковский справедливо говорит о страшном запасе ненависти, накопленном русским народом за десятилетия деспотизма. Думается, что и самому Буковскому это сильное чувство не совсем чуждо. А с ним связано и презрение к очень многому и очень многим. Поэтому можно походя оскорблять людей, не принадлежащих к узкому кругу "наших". Можно не видеть, а главное — не хотеть видеть сложности жизни, ее многообразия, не замечать, как близко оказываешься к штампам тоталитарного мышления. Конечно, если мощные силы во всем мире объединились, чтобы удушить движение за права человека, если враг наседает со всех сторон, как не возопить вместе с В. Максимовым: "Ратуйте, люди добрые!" Если вместо человеческих лиц видеть вокруг лишь звериные морды, если пребывать в убеждении, что честных людей в мире только-то и осталось, что десяток друзей, которых для верности можно по имени назвать, то стесняться, конечно, нечего. На войне, так по-военному, как переводил с французского Владимир Ильич.

Но Буковский способен преодолеть грозящую ему опасность. Ибо он знает, что "на советскую власть повлиять трудно — поссорить же людей, посеять вражду очень даже легко". И сознание своей ответственности, о котором так хорошо пишет Буковский, поможет ему — надеюсь, верю! — остаться на той же высоте, которая ему приличествует.

ЗОНА ОТДЫХА
или
ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

"Было у тещи
Семеро зятьев.
Хомка сел,
И Пахомка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел.
"Зятюшка Ванюшка,
Поди и ты сядь!"

Трагикомическая повесть из российской жизни.

Иерусалим — 1979 год

"Зону отдыха" можно приобрести в магазинах русской книги Израиля и других стран. Можно также приобрести у автора, прислав чек на 130 израильских лир /из-за границы — 6 долларов/по адресу: Felix Kandel, Merkaz Klita, Mevasseret Zion 61a, Jerusalem, Israel

ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

1. "Молчаливая любовь". Рассказы. Предисловие — В. Завалишин. США. 1979 г. стр. 119. Цена — 5 долларов.
2. "С девятого вала". Стихи. Предисловие — В. Завалишин. США. 1979 г. стр. 64. Цена — 3,5 доллара.
3. "Дальние пристани". Стихи. США. 1967 г. стр. 73. Цена — 2,5 доллара.

ИЗ ОТЗЫВОВ О Е. ДИМЕР

"Евгения Димер училась на опыте русской и украинской литературы, судя по ее сборнику "Молчаливая любовь", на опыте Чехова и Леси Украинки... Для творчества Димер характерно сочетание драматизма и лирической нежности..." В. Завалишин, "Новое Русское Слово", 16. 9. 1979 г.

"Е. Димер — законченный литературный мастер", В. Морт, "Русская Жизнь", 18.10.197&Г.

"В литературу нашего Зарубежья Е. Димер входит, прежде всего, как наблюдательный очеркист и журналист", Э. Штейн, "Русская Жизнь", 15. 1. 1980 г.

БОРИС НАРЦИССОВ

1. "Звездная птица". Полное собрание стихотворений: новые стихотворения. Сборники: "Шахматы", "Подъем", "Память", "Голоса" и "Стихи". Обложка автора и Г. А. Женук. Вашингтон, США. 1978 г. стр. 320. Цена - 9 долларов.

ИЗ ОТЗЫВОВ О Б. НАРЦИССОВЕ

"В стихах Нарциссова множество находок и ярких, очень народных и, вместе с тем, очень незаигранных, своеобычных образов..." Проф. Б. А. Филиппов — из предисловия к книге "Звездная птица".

"В русской литературе было слишком много реализма. Бориса Нарциссова следует отнести к романтической школе; диапазон его поэтического творчества чрезвычайно широк и глубок". Проф. А. Цветиков — из предисловия к книге "Звездная птица". "Один из крупнейших славистов Америки, профессор Тэррас, определил особенность поэтического почерка Нарциссова, как "виртуозность так называемых "своеродных размеров поэта". Э. Штейн. "Новое Русское Слово", 11.6. 1978 г.

Заказы на книги Е. Димер и Б. Нарциссова направлять по адресу: E.Sztein, 594 Chestnut Ridge Rd. Orange, Conn. 06477. USA

— ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Исполнилось десять лет со дня смерти Аркадия Белинкова, одного из самых выдающихся критиков и публицистов нашего времени. Мы предлагаем вниманию читателей отрывок из воспоминаний жены А. Белинкова Натальи Белинковой.

Наталья БЕЛИНКОВА

АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ - 1970 ГОД

До так называемой эпохи детанта в Мюнхене существовал Институт по изучению СССР. В январе 1970 г. в Лондоне этим Институтом был организован симпозиум по советской цензуре. Симпозиум носил международный характер, в нем участвовали специалисты по русской литературе из Европы и Америки, но основными докладчиками были недавно выехавшие из СССР журналисты и писатели: А. Кузнецов, А. Белинков, Л. Финкельштейн, Мих. Демин, А. Якушев, И. Ельцов, Мих. Гольдштейн. Председательствовал Макс Хейвурд — профессор Оксфорда, ведущий специалист в области советской литературы, первый переводчик на английский язык "Доктора Живаго". В результате работы конференции вышла книга "Советская цензура" на английском языке. Книга представляет собой блистательно отредактированную Мартином Дюхерстом стенограмму выступлений, сопровождаемую комментариями и краткими биографическими данными об участниках.

Советские "Известия", конечно, обозвали участников симпозиума агентами нескольких разведок сразу. Не упомянули они только о том, что на лестнице, ведущей в зал заседаний большого отеля, где проходил симпозиум, крутились какие-то подозрительные лица, судя по всему, сотрудники КГБ. Эти агентами разведок, конечно, не были.

Сейчас институт закрыт. Пятерых участников симпозиума больше нет на этом свете. Это — Виктор Франк, Аркадий Белинков, Анатолий Кузнецов, Дм. Аннин, Макс Хейвурд. Мне, современнице и участнице этого симпозиума, кажется, что он проходил только что, а не десять лет тому назад.

Смерть — граница между историей и современностью. Прошлое и настоящее разделяет невидимая черта. Происходит незримый переход факта в событие, события в закономерность. Бесследное исчезновение равно, как и закон прорастания семени в новый цветок, кажется непостижимым. Юность переходит в зрелость, зрелость — в старость. Что-то уходит, что-то приобретается, что-то остается. Где этот переходный момент? Античный мир сменялся Средневековьем, восходило Возрождение, оно, в свою очередь, сметалось бурями буржуазных революций. Где рубежи, которые разделяют эпохи?

Десятилетний срок — большой срок, если мерить его судьбой одного человека. Время меняется. Многое из того, что было ново, теряет свою актуальность. То, что было открытием — уже аксиома. У анекдота выросла борода. "Как же вы этого не знали? А я так всегда знал..." И самодовольство в глазах: "Меня, брат, не проведешь, я умный..." Ты умный с того момента, как твой предшественник разбился о препятствие на общей дороге. Твоя мудрость — заимствованный чужой опыт. Так история перерастает в современность.То, что нужно, не забывается. Но оно бездумно присваивается наследниками. Мы сетуем вслух, что не умеем извлекать уроков из истории. Умеем. Но делаем это подсознательно.

Время разделяет людей не хуже, чем растяженность территорий. Поэтому отчуждаются друг от друга отцы и дети. Время удлиняется, когда оно прожито врозь, когда люди ушибались о разные углы на разных континентах. Так очерчиваются грани между разными поколениями эмиграции,

так вырастают недоумения, которые порой перерастают во вражду.

Аркадий Белинков принял участие в конференции, хотя менее чем за год до этого перенес операцию на сердце. По дороге в Лондон он решил заехать в Италию, а возвращаясь обратно в США, побывать во Франции и Германии. Первая заграничная поездка по свободным странам совершилась не из России, а из Америки. Когда мы видели что-либо необыкновенное, каждый, конечно, произносил свое "Ах!". И тогда мы спрашивали друг друга: "Ты ахаешь, потому что ты из Москвы или потому что из Нью-Йорка?"

В канун Рождества Христова мы были в Риме на площади Св. Петра. Огромная толпа нарядно одетых людей с волнением ждала появления Папы на балконе. Мы волновались тоже. За этим обычаем стояли века. Шторы одного из окон раздвинулись, Папа вышел на балкон своего дворца в сопровождении нескольких человек и благословил нас и стоящую внизу толпу.

На следующий день рано утром мы отправлялись во Флоренцию на автомобиле, которым управлял А. Б. Из-за неосторожной езды случайного, вскоре исчезнувшего автомобильчика, он потерял управление машиной. Она вдруг понеслась в сторону от дороги со страшной скоростью. Неожиданно на нас наскочила стенка из белого камня, которыми укрепляют дороги в горах. Все случилось так быстро, что мы не успели понять, что происходит. Мне грезилось, что я сладко дремлю, опустив голову на руль. Оказалось, что А. Б. "будит" меня, а мы оба лежим на дороге. В каком состоянии он находился сам, он не понимал. Когда появилась машина из госпиталя, мы обратили внимание на наш автомобиль. Он стоял носом к белой стенке и из него был выпучен вверх весь мотор. Трубы и трубочки — как кишечник. В госпитале мы провели две ночи. У А. Б. оказались переломы на обеих ногах, но врачей, конечно, беспокоило его недавно оперированное сердце. Первая ночь была страшной, но А. Б. тогда спасли. Со мной, кроме легкого шока, синяков и небольшой ранки на лице, ничего не было. Совершенно неожиданно на

третий день за нами в госпиталь приехал Л. Финкельштейн, с которым мы были в оживленной переписке, но которого до тех пор не встречали. Совершенно случайно, в то же время, что и мы, он приехал в Италию по своим делам, но немедленно отложил их и занялся нами. К тому времени мы уже оправились от шока и смогли вернуться с его помощью в Рим. На следующий день утром втроем вылетели в Лондон, мы — так и не повидав Флоренции, Финкельштейн — не повидав страны, — это была его первая поездка в Италию.

В кресле на колесах, предоставленном А. Б. самолетной компанией, мы подкатили к выходу из аэропорта. Здесь нас встречали новоиспеченные англичане: Анатолий Кузнецов, которого мы немного знали по Москве, и Сильва Рубашова, которую до того мы знали только по письмам, да и то адресованным не нам. Эти письма шли из Израиля в Москву, откуда мы еще и не помышляли уезжать, и было в них присутствие иной, недоступной, свободной жизни. А. Б. послал Сильве книгу "Юрий Тынянов". Так состоялось их знакомство.

За несколько недель до симпозиума Сильва переехала в Лондон. Квартира ее, кроме одной комнаты, была совершенно пустой, но она пригласила нас остановиться у нее. По российской нелюбви ко всяким казенным домам, включая гостиницы, а также по неизжитому чувству коллектива, мы согласились на предложение. По дороге всей ватагой заехали в мебельный магазин — А. Б. ждал нас в такси, — в котором купили раскладной диван. Одно из чудес западного мира — он был доставлен в тот же день. Правда, он был дешевый и через год развалился. К вечеру Толя Кузнецов привез одеяла и подушки.

На следующий день пал канун Нового года.

Жена Лени Финкельштейна — Кира приготовила роскошный новогодний ужин. Все было продумано — и блюда, и сервировка, и состав гостей. Но приехать к нашим друзьям не было никакой возможности. Новый английский дом, в котором тогда жили Финкельштейны, состоял из трех этажей. Гостиная находилась на втором. Подниматься туда надо

было по такой узенькой лестнице, что ни с помощью друзей, ни сам на костылях А. Б. туда взобраться не мог. Кира плакала от огорчения. Не провести этот день вместе было немыслимо. Как-никак, нас, людей, понимающих друг друга, с общим прошлым, с одинаковыми намерениями, были единицы. И тогда решили: завернуть индюшку и привести ее к Сильве в пустую квартиру. Так и сделали. В гостиной, казавшейся очень большой и торжественной из-за того, что кроме штор в ней ничего не было, растянули на полу одеяла, покрыли скатертями, на скатерти поставили закуски и шампанское, сами тоже на полу расположились вокруг. В углу стояло кресло на колесиках и костыли. Я была вся в синяках и одета совершенно неподходяще. Но как же всем нам было весело! Более счастливой, более искрометной встречи Нового года я не помню. Мы резвились, как дети, Сильва совершала какое-то представление с куклами, перебивая друг друга, рассказывали о том, кто как просил политическое убежище, все любили друг друга, и заря свободы разливалась перед нами все шире и шире. Вечнопушкинское витало над нами: "Содвинем стаканы, поднимем их разом!" Это было то счастливое мгновение, которому мы забыли сказать "Остановись!"

Потом начались будни симпозиума. Между заседаниями и медицинскими осмотрами, в которых нуждался А. Б., мы ездили осматривать Лондон, к счастью, лондонские такси самые просторные в мире, и в них легко было закатывать кресло на колесиках. Причины катастрофы на итальянской автостраде не совсем были ясны. Итальянские литераторы были уверены в покушении, английские журналисты подхватили эту версию, хотя, кто покушался, было совершенно неизвестно, и вообще сам факт покушения не был доказан. Приезжали корреспонденты, снимали нас на фоне квартиры Сильвы /респектабельный "флэт", с которым по соседству жил молодой Черчилль, по словам Лени Финкельштейна/. Сильва возбужденно кричала: "Фатеру зашухарили!"

На симпозиуме было весело и интересно: новые знакомства, обмен мнениями, узнавание заново тех фактов московской литературной жизни, о которых знали каждый поврозь. Когда один начинал рассказывать о Фадееве, продолжал рассказывать второй. Даже недоумения были смешными. Я, по привычке, в своем выступлении чуть не сказала "товарищи", но вовремя поправилась, "вы — люди с Запада", "господа" пришли на язык уже потом. "Люди с Запада" прозвучало солидно и комплиментарно, Макс Хейвурд с удовольствием в своем заключительном слове несколько раз повторил "Мы, люди с Запада".

Тут же, между совещаниями, было решено, что надо издавать свой журнал, который будет называться "Новый колокол". Название было подсказано письмом из России, кто-то передал слух о том, что А. Белинков выпускает журнал под этим названием на средства Светланы Алилуевой. Был и другой слух, что Белинков и Кузнецов разбились насмерть в машине. Кто-то хотел, чтобы их друзья издавали безцензурный журнал. Кто-то хотел смерти своим врагам. Вместо журнала через два года под тем же названием вышел сборник. Составлен он был уже не А. Б., а мной. Говорят, что он не прозвучал. Возможно. По мертвым колокола бьют негромко. Однако важно, что сборник осуществился и свое скромное место в журналистике третьей эмиграции из России занял. Наиболее удачливые журналы следующего поколения, "Континент" и "Время и мы", хотят они того или нет, по-своему продолжают это начинание Аркадия Белинкова — бесцензурная журналистика Запада, отражающая интересы советской прогрессивной интеллигенции, существует.

К сожалению, осуществился и второй слух. Как и Белинков, погиб Анатолий Кузнецов. В случае с Кузнецовым тоже говорили о покушении. Я думаю, что покушение тут ни при чем. Каждый из них умер от непосильной задачи, которую возложил на свои плечи. Анатолий Кузнецов хотел переродиться в нового западного человека, нового писателя, он даже знал в какого, но надорвался, стараясь подняться до придуманного самому себе идеала.

Аркадий Белинков хотел заставить людей с Запада, легко и вольно раскинувшихся под зеленым деревом демократии,

понимать действительность так, как понимал ее он, пройдя свои лагеря и тюрьмы, свои муки и свои откровения на замученной русской земле.

После смерти А. Б. вышла упомянутая мною книга о советской цензуре. Она посвящена его памяти. Русская эмигрантская критика ответила на это событие иначе: через несколько лет после симпозиума и несколько лет после выхода книги критик Сергей Крыжицкий написал в "Новом журнале": "Открывает симпозиум ныне покойный Беленков /сохраняю ошибку в фамилии - *Н. Б./.* Сев на своего любимого /но крайне неубедительного/ конька, он заявляет: "Нужно помнить, что советская история — это лишь новая глава в русской литературе, из которой она заимствует отрицательные черты". Белинков говорил также о том, что "все благородное, чистое и прекрасное", что было в истории России, советской властью воспринято не было. Основная мысль его доклада состояла в том, что, если из-за цензуры в царское время остались отдельные белые пятна в корпусе русской литературы 19 века, то советская цензура так исказила литературный процесс, что, если все цензурные ограничения и запрещения восстановить, то мы получим другую литературу.

Я предлагаю журналу "Время и мы" отрывок из второго выступления Аркадия Белинкова, где он рассказывает о приемах, которыми пользовался, чтобы обойти советскую цензуру. Надо, однако, иметь в виду, что это не подлинный текст Аркадия Белинкова, а стенограмма устного выступления, сильно искаженная редактированием.

МЫ ПОЛУЧИМ ДРУГУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Выступление Аркадия Белинкова
на симпозиуме по советской цензуре

Осенью 1956 года я не попал в Дом литераторов на дискуссию, которая была посвящена обсуждению романа Дудинцева "Не хлебом единым"*. Моей жене повезло. Проскользнув вместе с Симоновым через кухню, она попала в зрительный зал. А я, как и другие неудачники, остался за воротами. Медленно и угрюмо возвращался я по длинной улице Воровского от дома номер 50 к дому номер 1, к арбатскому метро. Шел я не один, а с одним очень старым, очень известным писателем и разговаривали мы на обычные литературные темы. "Как у вас в "Вопросах литературы?", — "Плохо. А как у вас в "Новом мире"? — "Плохо".

Обычный литературный московский разговор.

По длинной, черной, ночной московской улице за нами медленно ехал длинный, черный писательский автомобиль.

Происходило это в 56-м году, почти 15 лет назад. Мой спутник тогда сказал: "В мемуары это не войдет, хотя, возможно, "в стол" и напишу. Но, может быть, этак лет через 10 или 15, в иные времена, напишете или расскажете вы". Прошло 15 лет.

"В 54-м г. у меня на даче, — рассказывал мне мой спутник, — сидели все мы растерянные, не понимающие, что к чему. Все пошло черт знает куда. Появились какие-то и что-то пишут, пишут то, что мы сами писали этак лет 30 тому назад. Все это было странно, непривычно и, казалось, не нужно. Как писать? Что писать? Все было непонятно. И тогда Костя, Виктор и Саша сказали мне: "Слушай! Поди к Нему и объясни. Пусть Он тебе скажет". Я пошел к Нему. Прихожу и говорю: "Вот одни пишут это, другие пишут то. Что делать, мы не знаем. Ну руководите нами, как всегда было!" И тогда Он сказал: "Нет! Это дело ваше. Вы — хозяева в своем

---

* Желающих попасть на обсуждение было так много, что для наведения порядка была вызвана конная милиция. */Ред./*

литературном доме. Делайте то, что считаете нужным. Времена культа личности миновали безвозвратно".

Дело, о котором упомянуто в этом коротком рассказе,— это советская литература. Костя — это Федин, Виктор — это Шкловский, Саша — это Бек. Рассказал мне эту историю Илья Григорьевич Эренбург.

"Вы помните, — спросил я тогда Илью Григорьевича, — сцену из Сухово-Кобылина?" "Да," — сказал Илья Григорьевич.

А сцена была такая:

"Варавин: Господа, схватите каждого из вас за шиворот!

Каждый хватает другого за шиворот. Омега подбегает к Варавину.

Омега: Меня некому схватить за шиворот!

Варавин: Господин Омега, хватайте себя за шиворот сами!"

Кроме того учреждения, которое называется цензурой и на которое мы все ужасно обижаемся, есть еще одно обстоятельство — советская диктатура. Мы забываем, что историю советской цензуры нужно изучать в очень широком историко-литературном — общественном — социальном контексте.

Не случайно, что этот эпизод из своей жизни И. Эренбург рассказал мне накануне первого жестокого литературного разгрома, который был учинен в послесталинские времена.

Да, я не упомянул о том, что "Он" — это Хрущев.

Финкельштейн: Насколько я вас понял, Аркадий, вы сказали, что первый жестокий разгром послесталинского периода был учинен в 56-м году?

Белинков: Я имею в виду Дудинцева.

Финкельштейн: Но ведь до этого была история с пьесой Зорина "Гости"?

Белинков: Началось-то, собственно, еще раньше, с "Оттепели" самого Эренбурга, началось-то в 54-м, когда вышел номер "Нового мира" с "Оттепелью" и когда ее сразу же разнесли... К рассказу об Эренбурге добавлю одну существенную деталь: когда мы продолжали длинный путь по улице Воровского от дома номер 50 до дома номер 1, Илья Григорьевич, неожиданно остановившись, вывалил на ладонь

свои протезированные челюсти, что было несколько неожиданно и странно в литературном разговоре. "Вот, — сказал он, постукивая челюстями, — все зубы пропали. Отчего? Боялся. Всю жизнь боялся. Никогда не ходил к зубному врачу". Это, если хотите, маленькая модель: советские литераторы всю жизнь боялись и кончили протезами.

Голос из зала: Советская литература, это, конечно, протез литературы.

Белинков: Вы совершенно правы. И, конечно, все определяет не 56-й год и, конечно, не 54-й, и даже не 37-й. Сажать стали не в 37-м году, а в 1917-м.

Диктатура и цензура в самых широких и самых разнообразных своих проявлениях едины и изучать их нужно именно в этом единстве и в этом контексте.

Однако, как и во всякой истории, здесь тоже существует определенный рельеф: вершины гонений и низменности либерализма. Люди моего поколения оказались свидетелями того, как в эпоху, которая стала называться"оттепелью", с вершин идеологической мудрости опять постепенно начали спускаться тяжелые советские идеологические сани. Они начали спускаться в 54-м году после появления "Оттепели", книги Эренбурга, давшей название целой эпохе, и продолжали спускаться с перерывами, с осложнениями, с возвращением назад приблизительно до конца 66-го года. На ноябрьском пленуме, в 66-м году, было решено бороться со всякой крамолой в связи с тем, что грядет светлый праздник — 50-летие Октября, когда у всех должно было быть хорошее настроение, поэтому все отрицательные явления советского быта и, в частности, советской литературы должны были быть устранены.

Тем не менее в новом писательском быте, который установился после 53—56-х годов, в новых цензурных установлениях произошли качественные и существенные изменения. За то, что уже прошло редактуру и цензуру, не сажали. Это было чрезвычайно важным и принципиально отличающим одно время от другого.

Весь смысл поведения писателя в предшествующую эпоху заключался в том, чтобы не попасть в тюрьму, независимо от

того, пропущена или не пропущена книга цензурой. После 53—54-х годов и, в особенности, после 56-го года появилось новое и весьма любопытное обстоятельство. Важно было проскочить через цензуру. Если ты проскочил через цензуру, то это гарантировало, по крайней мере, избавление от чисто физической опасности, а все остальное — исключение из Союза писателей или ссыпанный набор — было уже пустяком, И вот на этом нормальном явлении, когда исчезает патологическая цель сохранить себя и когда писатель беспокоится только о том, как издать книги, т. е. явлении нормальном и существующем во всех литературах мира, там, где, естественно, еще доживает, или как сказал Солженицын, доволакивает цензура свои мафусаиловы сроки, на этом я и хотел несколько подробнее остановиться.

Голос из зала: После второго издания Тынянова вы получили много писем от читателей. Могли бы вы нам сказать вкратце, что они вам писали и какова была ваша реакция?

А. Белинков: Какие письма и какая реакция? Реакция испуганная. А письма? Ну, такие, как все, которые пишут писателям. Почему испуганная? Потому, что читатели вылавливали в книге не метафоры, — это ведь не Принстон, это же Советская Россия, — а вылавливали, деликатно скажем, политическую сущность. А когда все это аккуратно выписывали на бумажке, то все это выглядело очень выразительно и уже входило в компетенцию отнюдь не одних только литературоведов. Я получал такие письма и очень обижался, потому что меня не спрашивали: "Как вы думаете, удалось вам это написать или не удалось? Хорошо или не хорошо написано?" А спрашивали: "Как удалось вам это протащить?" /Смех в зале./

Как иногда удается "протаскивать" вещи, которые вызывают прямой протест или на ранних стадиях цензурования то есть в редактуре, или во внутренних рецензиях, или позже уже, в Главлите? Всякие неожиданности бывают... Я хочу сказать о многообразии приемов, о том, что, если люди пытаются как-то пробиться сквозь цензурную стенку, то все-таки

что-то удается. Я рассказываю об этом именно для того, чтобы показать, как я извлек из этого практический урок: не надо опускать руки перед этой стеной, не опускать и не поднимать. Очевидно, нужно засучивать рукава. Причем необязательно добиваться своего громким голосом или разбивая графин... Было и со мной такое. Есть другие способы, гораздо более умеренные, скромные и часто гораздо более продуктивные.

В Институте мировой литературы им. Горького обсуждалась моя книга "Юрий Тынянов", в частности, глава о Пушкине, связанная с крайне болезненной для советского литературоведения темой, — политическая роль эстетства в русской литературе, и, в частности, в классической русской литературе. У меня речь идет о третьем периоде творчества Пушкина, начиная с 1828 года, когда он пишет: "Поэт, не дорожи любовию народной"... А Тынянов заканчивает книгу о Пушкине 1820 годом. Это важный год в биографии Пушкина — год первой высылки его на юг. Но мне важно было не это, мне важно было сказать "подите прочь, какое дело поэту мирному до вас...", т. е. до вас, т. е. до них, до этих сотрудников ИМЛИ, СП СССР, ЦК КПСС. Они не могут возражать мне, поскольку все-таки это же не я написал "уходите прочь, непосвященные..." и все последующее за этим. Но они говорят ужасно обрадованно: "А вы знаете, книга, о которой вы пишете, обрывается 1820 годом. Вы же говорите о 1828 годе..."

Тогда очень долго, очень напряженно, очень мучительно и старательно ломая голову, придумываю: "Книги... пишутся не словами, а линиями, и линия, которая завершилась пушкинским стихотворением "Поэт и толпа" была начата в 1820 году". После этого я уже могу говорить и писать почти все, что хочу. Так я нашел один из приемов обхода цензуры.

В книге сказано: "Казак, драбант, городовой русской литературы", да еще "вандеец". Это сказано о Шолохове. Но ведь дело не в самом куске, а к чему он отнесен. Если такую характеристику Шолохова вставить в контекст, скажем,

американской литературы, когда пишешь о каком-нибудь "отвратительном" американском или английском писателе, то это великолепно проходит.

Цензура не занимается местом куска в контексте. Поэтому очень многое из того, что благополучно проходило, прошло только потому, что этот или какой-то другой кусок вставлялся в историю. Ну, допустим, про эпоху Перикла можно говорить всякие нехорошие вещи. Про русских царей можно, но не очень много. Поэтому я получил такие комментарии на верстке: "Зачем так много эмоций уделено императору Павлу? Зачем столько страсти Николаю Первому?" А там речь шла о совершенно очевидных для современников вещах.

Я хочу в связи с этим оговорить одно, меня всегда чрезвычайно огорчавшее обстоятельство. В некоторых статьях и книгах говорилось о моем некотором умении создать аллюзию.

Я заверяю вас, что это никогда не было моей прямой целью. У меня цель была иная. Гораздо более серьезная, научная.

Это не хитрое дело написать об Иване Грозном во фразеологии, сходной, аналогичной с описанием Сталина. Это умеет всякий. Нужно написать о таком Иване Грозном, о таком Павле Первом, которые были предшественниками современных основоположников "культа личности". Нужно помнить, что советская история — это новая глава русской истории, извлекшая из русской истории, с ее плюсами и минусами, только плохое. Я никогда не сочинял никакого Павла Первого для аналогии со Сталиным. Это реальный Павел. И из этого реального Павла реальным Сталиным все плохое извлечено. И поэтому я очень прошу отделять меня от людей, которые создают басни, где вместо орла изображен Сталин и другие, хотя животные, а все-таки, по Грибоедову, — цари. Нет, никогда басенная поэтика, поэтика аллюзий, ассоциаций меня не занимала. Я писал об истории, о том, что было, а не просто о том, что похоже.

Цензор — обычный человек, не обладающий чрезвычайно высокими интеллектуальными качествами, и поэтому сквозное чтение с пониманием построения книги, ее монтажа, ее стыков, ее архитектуры, ему не под силу. Цензор читает фразу, но того, что потом проистекает из нее, он обычно все-таки не извлекает, хотя он науськан достаточно хорошо. Когда вы отдаете свою собаку в учение в Советском Союзе — не знаю, как на Западе — вас спрашивают: "Как? На доброту или на злобность?" Цензоры, естественно, натренированы на злобность. Но, очевидно, на большую злобность, а все, что поменьше или разведено другим текстом, уже не входит в их поле зрения.

В первой главе одной из своих книг я написал: "Если в истории страны имеется Фридрих Барбаросса, то есть основания предполагать, что в истории этой страны может появиться Бисмарк, позванивая шпорами".

В следующей главе я написал: "Если в истории страны был Иван Грозный, то можно ожидать появления Павла Первого". Глава четвертая: "Если в истории страны был Павел Первый, то мы можем ждать появления Николая Первого". Следующая глава: "Если в истории страны был Николай Первый, то мы можем ждать появления... тирана или деспота".

Когда мне пришлось потом из этой книги делать главу для "Истории советской литературы", я взял все это, собрал и поместил на одну страницу. Конечно, это немедленно не прошло. Но на пространстве книги в 650 страниц это проходит.

Или еще пример: мне нужно было процитировать одну "ужасную" статью Зинаиды Николаевны Гиппиус. Эта статья призывала к откровенному вооруженному восстанию, что квалифицировалось пунктом 2-м Уголовного Кодекса РСФСР в прежнем издании. Сейчас никакого, конечно, вооруженного восстания быть не может и поэтому такой пункт просто отсутствует. В статье Гиппиус речь шла о том, что в эпоху татарского ига татары клали на спины пленных доски и на них плясали. Зинаида Николаевна говорит, отчего бы не стряхнуть этих татар с досок. В самом деле, татар было мало, шли они Бог знает откуда, русских было много, однако вот не стряхнули. Я это процитировал. Татары, XIII век, все это ни-

кому не интересно. Интересно было другое — примечание под этой цитатой, ссылка: " "Русская мысль" под ред. П. В. Струве, 1921, София". Хуже не придумаешь. Тогда я сделал очень простую вещь. Я сделал опечатку. Вместо 1921 года написал 1912... Но поскольку книжка все-таки научная, то, когда это уже прошло цензуру, я, естественно, сделал на поле значок перемены цифр. Хотя опечатки и должны идти в цензуру, но такие опечатки, равно, как и некоторые вычерки, не идут в цензуру, и все получилось прекрасно, получился 1921 год, "Русская мысль" и даже П. В. Струве.

Главное — это обойти цензуру, потому что, если уж обошел, то тогда это в двух отношениях хорошо. Во-первых, обошел, напечатано, во-вторых, за тебя попало главному редактору. Авторам попадает меньше. Николаю Васильевичу Лесючевскому — директору издательства "Советский писатель" — за меня очень много попадало, и как-то я всякий раз чувствовал себя даже не провинившимся школьником, а человеком, сделавшим общественно полезное дело.

В советской цензуре 50-х — 60-х годов нет того энтузиазма, который мы так часто наблюдали в предшествующие периоды, в 30-е — 40-е годы.

В книге об Олеше я цитировал рассказ самого Олеши о том, как Париж встречал Хрущева во время его известного путешествия по программе борьбы за мир. В этом рассказе повествуется о том, как французы с необыкновенным упоением встречали вождя советского народа и друга всего прогрессивного человечества... Я цитировал Олешу в доказательство того, что он немногим дальше ушел от других песнопевцев этого режима, этих имен, этой концепции.

Но произошел октябрьский пленум 1964 года, на котором Хрущев, как известно, был отстранен, а все последующие документы стали утверждать, что он волюнтарист и субъективист.

Когда очередной раз моя рукопись попала на стол заместителю главного редактора издательства "Искусство" Юлию Германовичу Шубу, то Ю. Г. Шуб сам, своей рукой, в которой был красный карандаш, всюду зачеркнул "Хрущев" и напи-

сал "волюнтарист и субъективист". И получилась такая ситуация: "Едут по Парижу прямо на зрителя два щеголеватых эскорта мотоциклистов. Едет длинный автомобиль. А в нем с у б ъ е к т и в и с т и в о л ю н т а р и с т. Французы в восторге вскидывают руки и кричат: " С у б ъ е к т и в и с т и в о л ю н т а р и с т." А заканчивался этот сюжет таким образом: "Теперь французы могут спать спокойно, ибо они помнят, что им из кувшина наливает веселое молоко или светлое вино в о л ю н т а р и с т и с у б ъ е к т и в и с т".

Это был один из очень немногих случаев, когда я не спорил с цензурой.

В связи с выходом отрывков из Олеши в журнале "Байкал", я обнаружил еще одну особенность советской цензуры, которую я назвал бы региональной чертой. В Москве, например, если вы просто пишете Чингис-хан, то никто не обратит на это внимания. Но оказывается, что в Улан-Удэ, который очень близко от Китая, Чингис-хан и Батый — это уже фигуры, которые обращают на себя внимание. И поэтому меня попросили в четырех случаях "Чингис-хан" снять, в одном оставить.

Когда я сейчас говорил о том, что вот удалось это, удалось то, то я не хотел бы, чтобы у вас создалась иллюзия наших замечательных побед в борьбе с цензурой. Мы не только побеждали. В частности, я не могу считать себя победителем, потому что за первую же свою книжку получил расстрел, а за три последующие 25 лет тюрьмы. Так что абсолютной победой назвать это нельзя. Первым моим цензурным поражением, после возвращения из тюрьмы, было такое: я заполнял авторскую карточку, — известно, в Советском Союзе всюду заполняются карточки, — ... там пункт первый — фамилия, пункт второй — имя, и так далее, и один из пунктов — "псевдоним".

Я заполнил аккуратно эту карточку и в качестве псевдонима написал Белинкович. Я еврей, но у меня потомственная, наследованная от прадеда русская фамилия Белинков. Так как я жил в антисемитской стране, в эпоху густопсового советско-фашистского антисемитизма, то я решил сделать

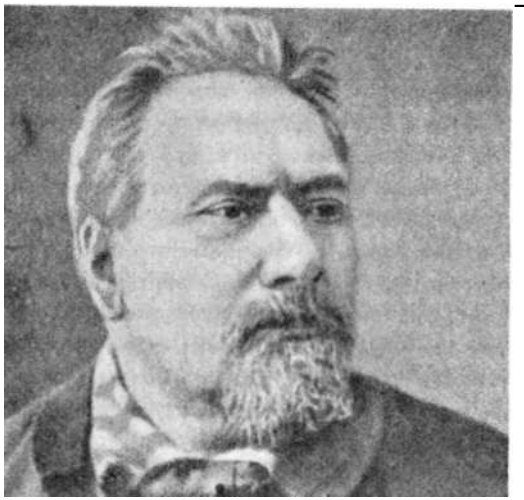
подобное тому, что сделал Синявский, назвавшись Терцем. Борьба за этот псевдоним кончилась поражением: была предложена жестокая альтернатива — либо псевдоним, либо книга.

Мне была заказана статья о Блоке в "Краткой литературной энциклопедии". Тогда только создавалась форма энциклопедии. Статья о Блоке была одной из типовых статей, она неисчислимое количество раз переделывалась, потому что нужно было выбрать ту форму, которая могла бы служить вместе с другими статьями эталоном для будущего издания. Я написал эту статью и включил в нее слова из частного письма Блока, адресованного К. Чуковскому, почти закончив этим статью. В письме от 21 мая 1921 года, написанном за 3 месяца до своей смерти, Блок пишет: "Сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка". Это была так называемая "типовая статья", и поэтому она, естественно, в числе других восьми типовых статей попала, в первую очередь, на стол главного редактора энциклопедии Алексея Александровича Суркова. А. А. Сурков, естественно, вызвал заведующего отделом русской литературы Владимира Викторовича Жданова, старшего научного редактора Александра Абрамовича Белкина и, конечно, автора статьи. Осталось вызвать только Блока, но они уже его погубили за сорок с лишним лет до этого и отвечать за него должны были мы, ну и К. Чуковский, которому было написано такое совершенно непристойное, совершенно такое неприличное письмо. Алексей Александрович побагровел, с размаху перечеркнул страницу, статья была сравнительно большой для краткой литературной энциклопедии, и определил: "Конец статьи пусть напишет другой". Уже можно было работать. Уже за это не сажали. Дописал статью Олег Михайлов, очень талантливый молодой советский критик и литературовед. Статья получилась странная, из двух половинок. Две половинки срослись как-то ногами и головой. Из того, с чего начинал Блок и чем Блок кончил, единства не получилось. Ну, в общем и только.

5-й том "Литературной энциклопедии" вышел с большим опозданием, и все, а многие и из присутствующих здесь, очевидно, чрезвычайно негодовали, что так долго не выходит 5-й том. Я должен перед вами, друзья мои, повиниться. 5-й том задержали на 8 месяцев из-за того, что там были 4 статьи: 3 — моей жены Наташи и одна — моя. Моя статья была зловещая, статья об Оксмане. Статью об Оксмане не разрешали вообще, но в сочетании Оксман—Белинков это было уже нечто совершенно недопустимое, и Сурков повертелся по кабинету некоторое время, но так как в кабинете ничего не решишь, он побежал дальше к Шауре или, может быть, тогда к Поликарпову. Ну, кое-как утвердили. Однако потом мы совершили отвратительный поступок — эмигрировали, после чего энциклопедию задержали снова. Виноваты в этом мы. Приносим вам глубочайшее извинение.

В 5-м томе "Литературной энциклопедии" произошли некоторые любопытные вещи. Так, например, под статьями, написанными моей женой, появились три мужские фамилии: Акимов, Семенов, Савельев. А что касается моей статьи об Оксмане, то она была низведена до объема и значения библиографической справки и подписана фамилией кухарки, о чем мы узнали 26 августа 1968 г. уже в Америке. В связи с этим профессор Карел ван хет Реве написал мне: "История расскажет, как кухарка вошла в историю русской литературы". Фамилия ее Колосова. Но все же эти статьи оказались напечатанными.

Сейчас нет непроходимой стены и нет болотной топи, к которой нельзя подступиться. Даже при всей чрезвычайно трагической оценке происходящего я настаиваю на том, что, если случается какое-нибудь очень радикальное цензурное изменение, то в этом виновата не только цензура, но и писатель, который это позволил. Сегодня еще есть возможность сопротивления. До сих пор еще, если кто-то хочет, он может что-то сделать. Я говорю это не для того, чтобы призывать к смелости. Я надеюсь, все то, что мы делаем, — связано с Россией, мы делаем это для России, и я думаю, что если мы будем говорить о том, что русское Сопротивление не умерло и что оно необходимо, что оно может приобретать только новые формы, то мы будем делать, вероятно, главное из всех дел, которые мы обязаны делать.



ПИСЬМА Н. ЛЕСКОВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В литературоведении, связанном с художественным наследием Н. Лескова /1831—1895/, его эпистолярному искусству отведено мало места. Более или менее освещена разносторонность и орнаментальное мастерство его прозы, мозаичность его литературных форм, яркость его искусства новеллы. К переписке же писателя исследователи обращались лишь как к первоисточнику, из которого можно почерпнуть биографические, литературные, мировоззренческие факты. Мне кажется, что кроме этого неоспоримого документального значения, многие письма Лескова являются художественными произведениями, которым свойственны все особенности писательской манеры автора "Соборян".

Письма Лескова, как в этом можно убедиться при чтении впервые здесь публикуемых текстов, это литературный жанр, это способ выражения — в свободной эпистолярной форме — целого комплекса идей, переживаний, размышлений, поводом к которым является то или иное внешнее обстоятельство. В этой "эпистолярной беседе" отмечается влияние сказовой поэтики, то есть в каждой фразе чувствуется интонация пишущего-рассказывающего, — то ироническая, то гневная, то болезненно-мнительная, то нравоучительная...

Что касается языка этих писем, то в них можно найти тот "художественный филологизм", которым Б. М. Эйхенбаум характеризовал самобытность автора "Запечатленного Ангела": синтаксическая "грузификация" /по термину русских поэтов-конструктивистов/, словесная пестрота, сочность, а иногда и применение крепких словечек.

Переписка Лескова до сих пор не издана полностью /пока отстранены, главным образом, письма, содержащие нецензурные слова или слишком прямое выражение религиозных воззрений/.

Выбор здесь опубликованных писем сделан для того, чтобы показать некоторые стороны личности писателя, которые, будучи и известными и необойденными исследователями, могут ярче быть освещены. Это относится, в первую очередь, к религиозной эволюции Лескова, воспевавшего в 60-х и 70-х годах красоту и поэтическое благолепие православной культуры, и постепенно переходившего к антиклерикальной /хотя и антирелигиозной/ сатире на бытовые, социальные стороны церковников; при этом Лесков исповедывал первобытное христианство, очищенное от обрядовых и культурных наслоений, которые в течение веков исказили его подлинное лицо. В этом отношении, можно сказать, вслед за известными американскими лесковистами Эджертоном и Мак Лейном, что Лесков — своего рода "протестант" внутри православия. Неудивительно, что он в 80-х годах и начале 90-х сблизился с Л. Н. Толстым, даже если философия толстовства не удовлетворяла его до конца /см. сатирический рассказ 1894 г. "Зимний день"/.

Другой важный аспект личности писателя, который проявляется во всей силе в этих письмах, это его "нетерпячесть" /"А я был, есть и, кажется, буду всегда нетерпячий", писал он Л. Н. Толстому 19 сентября 1894 года, за пять месяцев до смерти/. Это особенно выражено в грозных упреках к сыну и морализаторских наставлениях к Пешковой-Толиверевой или к сестре.

Текст дан по новой орфографии, но сохраняются в правописании и пунктуации стилистические весомые элементы Лескова.

Главные труды, использованные для примечаний :

Н. С. Лесков, Собрание сочинений в 11 томах, Москва, 1956—1958 /процитированное: Собр. соч., с указанием тома и страниц/.

Андрей Лесков, Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям, Москва, 1954 /процитированная: А. Н. Лесков, с указанием страниц/.

Hugh Mc Lean, "Nicolai Leskov, The Man and His Art", Cambridge, London, 1977 /H.Mc Lean, с указанием страниц/.

Письма из ИРЛИ /Пушкинского Дома/ были описаны в Ежегодниках, Ленинград, 1973/ в цитатах: "Ежег.", с указанием данной в нем нумерации/.

Жан-Клод МАРКАДЭ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Н. С. ЛЕСКОВА

Публикация неизданных писем Н. Лескова, предложенная журналу французским исследователем его творчества Жан-Клодом Маркадэ, привлекла редакцию по нескольким причинам.

Первое: эти письма весьма интересны, как произведения словесно-художественные; в каждом из них живой голос Лескова слышен с такой же /или даже большей/ отчетливостью, как если бы он был записан на магнитную ленту. В письмах сыну и сестре он клянет, кипит, бушует, взрывается, язвит, убеждает, корит, унижает, оскорбляет, настаивает, — и все это с энергией для привычного эпистолярного жанра небывалой. Искусство живой речи — со всеми ее интонациями — здесь Н. Лесков чемпион.

Второе: богатство чисто словесное, в письмах почти не уступающее лесковской художественной прозе: в них рассыпаны характерные для Лескова — или изобретения, или воскрешенные редкости, или в каких-то глубинах откопанные диалектизмы: "по злобству души", "неоправдимо", "незаглаженное негодяйство", "жалкая мизерия по пути к умственному и социальному ничтожеству", "надежда обгажена", "бессловие", "мы давно отчуждились", "офицерствовать", "сказать на-оболмаш", "ей-право!", "бабьи окомёлки", "надувательно" — сколько такого богатства в этих немногих письмах!

Сегодня, когда необходимо разбить вдребезги идол речевого Штампа, сегодня особенно важно вновь открыть величайшего из мастеров русского языка — Лескова.

Третье: в одиннадцатитомном издании Н. С. Лескова, выпущенном в Москве в 1956—1958 годах — после долгого перерыва /"реакционера" Лескова в сталинское время не жаловали/, письма отобраны жестко: только те, которые содержат историко-литературные факты. "Семейные", — как сказано в примечаниях, отвергались. Это неправда. Печатались и "семейные", — если только они были вполне безобидны. Например, среди более чем четырехсот писем разным лицам дано лишь одно — сыну Андрею, от 11 июня 1875 года, когда сын был еще мальчиком и все было безоблачно: "Мой милый сын!.. мне о тебе тяжко соскучилось: все ты мне снишься во сне... Прощай, мое дитя: будь умен и послушен маме". Прошло десять-двенадцать лет, и отношения непоправимо испортились: письма отца к сыну дышат неистовым гневом, бешенством, сарказмом — и советское издание их отбрасывает. Почему? Ведь как эпистолярные произведения они гораздо выше "голубого письма" 1875 года. А вот почему: не принято классикам злиться и махать кулаками. Классики должны быть олимпийцами. В 1956-58 годах Лескова надо было извлечь из братской могилы мракобесов и ввести в сонм — можно ли при этом порочить его семейной сварой? К тому же, блудный сын Андрей Лесков, автор научной биографии своего отца, тоже многое сделал для закругления углов.

А письмо Лескова к О. С. Крохиной! В советском издании ни одного письма к ней нет. Это и понятно: Лесков с яростью кидается на больную женщину, укоряя сестру... в страхе смерти. "И чего ты трусишь? — обличает он... — Или ты надеешься избежать смерти? ...Что же это за глупость — бояться того, что неизбежно и придет непременно?.. Стыдно и безрассудно..." В советском издании классику надлежит умеренность и благопристойность, а этот — жесток, да еще, при своей антицерковности, истинно религиозен. Тоже худо.

Публикуемые Жан-Клодом Маркадэ письма Лескова к сыну и сестре, а также к Пешковой, Суворину, Буренину сохраняют актуальность. К тому же они способствуют пониманию одного из крупнейших русских прозаиков XIX века.

Е. ЭТКИНД

Письмо Е. Н. Ахматовой *

/ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 116. Машинописная копия/

2 августа 82 Спб Сергиевская 56, кв. 14

/.../ Я давно привык уважать всякие убеждения, лишь бы они были искренни, убеждения же позитивистские мне не только не противны, но даже очень сочувственны. Но они не отстраняют религии, но только вводят ее в настоящие пределы. Безумно и нагло "комментировать Бога", но вполне умно и благочестиво воспитывать дух свой в покорности судьбам, которых отрицать нельзя и потому, что они сами тебя отрицают /.../

Ваши философствования меня нимало не смущают. Я знаю, что вся религия лежит в слове "любовь". "Бог любы есть"**, а что с нами делается, то вне нашей власти и вне понимания. Молитва имеет свой смысл, и моя молитва сродни с молитвой Базарова отца: "Не дай мне возроптать", вся гармония силы духовной состоит только в покорности. Это как-то божественно красиво и величественно, а раздражение и ропот несут только одну сумятицу. Однако, когда очень больно, — каждому естественно шуметь, вопить, кричать и даже драться/.../.

---

* Елизавета Николаевна Ахматова /1820-1904/, детская писательница и переводчица. Лесков ее защитил против нападок Скабичевского в статье "Как заступаться за литературных дам", Исторический Вестник, 1885, №4, стр. 255-256.

** Первое Послание Иоанна, ст. 16.

Письмо В. П. Буренину*

/ИРЛИ, ф. 36, оп. 2, № 261, л. 1. Ежег. 136 /

14 мая 83 г. С. п. б. Сергиевская 56, 14

Усердно благодарю Вас, уважаемый Виктор Петрович, за доброе слово и за радение "поставить меня на место", — о чем так давно хлопотал Скоробрешко**, — ныне тоже определенный ко множеству мест, меж тем, как у меня было хотели отнять и то, последнее, по которому нет ни окладов, ни пенсий***. Я считаю себя очень счастливым, что мое многообидное прошлое убило во мне всякую тень литературного самолюбия, и я давно "хулу и похвалу приемлю равнодушно"; но правдивое слово, без сомнения, слышать приятно, и благодарить за него хочется ото всего сердца. Вы не написали мне лести, ибо я знаю, что я не лучше их, но и не хуже.

Пришел бы поблагодарить Вас лично, но боюсь, что оный "клеветник искони, иже во истине не стоит и сам ложь есть и отец лжи" известится о моем приходе и сугубо забрешит о моих противу его кознях, которых на самом деле только и есть, что неодолимое отвращение к его подлому нраву.

Прошу Вас принять мою благодарность за внимание, и уверение в моем к Вам почтении и преданности

Ваш покорный слуга Н.Лесков

* Виктор Петрович Буренин /1841—1926/, поэт и публицист. В середине 70-х годов близко сотрудничает с "Новым Временем". Отношения Лескова к В. П. Буренину стали критическими /см. письмо к А. С. Суворину от 11 марта 1887, Собр. Соч. XI, 337/ и впоследствии резко изменились (см. письмо Лескова к Л. Я. Гуревич от 8 августа 1892, ИРЛИ,. 19988. CXXXVI, б. 1, л. 12/: "Читал конечно Буренина. Вот наглец образцовый /.../ Какой "откровенный" мерзавец!".

** Скоробрешко — прозвище, данное Лесковым писателю Григорию Петровичу Данилевскому/1829—1890/,см. письмо Лескова к А. С. Суворину от 11 марта 1887 / Собр. Соч., XI, 337/.

*** 9 февраля 1883 Лесков был отчислен министром И. Д. Деляновым от министерства народного просвещения с увольнением от звания члена Ученого комитета этого министерства по рассмотрению книг, издаваемых для народа. См. описание увольнения в письме Лескова к Ф. А. Терновскому от 12 марта 1883 /Собр. Соч., XI, 275-276/ и А. Н. Лесков 424-437.

Письмо А. С. Суворину*

/ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 57-58. Ежег. 821 /

15 сент. 84.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Третьего дня я поместил в "Новостях" заметочку о штунде** и вчера "Новое Время" меня н е обругало***. Я подумал: "верно Суворин вернулся". Пошел в магазин и узнал, что догадка моя справедлива. Мне это было очень приятно, — так приятно, что я не могу отказать себе в желании сказать Вам об этом. — Вы знаете — сколько я в жизнь мою был поносим и руган и не удивитесь, конечно, если я скажу Вам, что сношу эти вещи очень спокойно и равнодушно, но мне надоели и опротивели вопросы: "Что такое у Вас с Суворины, — за что Вы поссорились?" — Вы знаете, что у меня с Вами нет никаких ссор и потому поймете, как досадно мне слушать эти вопросы и отвечать на них. — Я знаю, что у редакций есть свои причины унижать друг друга, но зачем же вмешивать в это лицо стороннее, обращающееся в газету с с л у ч а й н о ю статейкою... Конечно, если бы я сказал, что лицо неосновательное или не честное, — зачем щадить меня, но гнаться за мною по пятам, на каждом шагу, — какая в этом надобность? При том же я так недавно и так немало работал у Вас и то, что я делал в "Новом Времени", не было ни образцом глупости, ни образцом бездарности. И вот те же люди, которые читали у Вас мои строки, б. может не без внимания, — нынче читают эти угонки за мною и спрашивают: "Что у Вас с Суворины?" Мне это противно и я очень рад, что, по-видимому, — это и Вам противно. Мне это утешает.

Вина моя вся в том, что есть вопросы мне очень дорогие и близкие. Когда о них пишут неверно, я не утерплю и замечу. Это случалось и по поводу некоторых слов "Нового Времени", — особенно в одном отделе газеты, но я обыкновенно д а ж е и м е н и г а з е т ы В а ш е й н е н а з ы в а л.

Тем, кого это досадует,— лучше бы не сердиться, а стараться быть сведущее по бытовым вопросам, о которых нельзя говорить "с кондачка". — Мы с Вами люди, ученых степеней не превзошедшие, но литературу мы любили, и читали, и помним ее, а нынче пишут, но не читают. Кто же им виноват, и за что они судятся?

Вы знаете, что работая у Вас, я ни одного раза не сказал худо ни о ком из других лиц у Вас же работающих. И я никогда этого не делаю. Это Ваше "хозяйское" дело знать людей и ценить их. Я знаю, что нас очень желают ссорить и понимаю, зачем об этом стараются, но я сам никому дороги не перехожу. Работа есть у всех, — лишь бы работалось. Я ничего против Вас не имею и не хочу иметь зла ни на кого, а написать статейку иногда нужно, и ее отвезешь и напечатаешь, где можно, — где спокойно и не боишься, что кого-нибудь тем обидишь, или встревожишь. Вот и все.

Извините, что много написал.

Ваш Н. Лесков.

Письмо дано с незначительными сокращениями. *—Ред.*

---

* Об обширной переписка с А. С. Сувориным /1834—1914/, известным журналистом и редактором "Нового Времени", см. А. М. Бихтер и Н. И. Соколов в Собр. Соч., X., 536-538.

** Статья Лескова "Княжьи наветы" /ответ на статью "Гражданина" о Пашкове/ появилась в № 253 "Новостей" за 1884 год.

*** 6 июля и 24 августа 1884 года были в "Новом Времени" нападки на Лескова. В письме к П. К. Щебальскому от 16 октября 1884 года, Лесков пишет: "Недавно еще "Нов. Время" в отсутствие Суворина обозвало меня "фарисеем" " /Собр. Соч. XI, 295/.

Письмо А. Н. Лескову*

/ИРЛИ, ф. 612, № 7, л. 23-24. Ежег. 377 /

2 июля /18июня/ 84 среда.
Marienbad
Willa Heller, Zim. 3

Я все твои письма получил и не отвечал на два последние потому, что знал, что ты в разъездах и письмо мое может тебя не застать в том пункте, куда я его адресую. Новости твои о родных мне интересны, но не много меня радовали. Там нелады, там политика, тут критика, и нигде прямоты и простоты здорового чувства и светлого ума. Такова-то стала наша "предобрая провинция", что не в ней можно отдохнуть сердцем и головою. Красное вино к столу — вещь здоровая, но оно тоже не выражает усвоения лучшей культуры. Внешности мы всегда умели подражать — даже до излишества, но никогда не усвояли главного — обработки характера, и отсюда гениальный Наполеон вывел свое правило: "поскоблите русского и вы найдете татарина". Хорошо Фр/анцузское/ вино, но лучше его Французская мягкость и деликатность души, — чего у нас так мало, что даже менее, чем у самого татарина /.../

---

* Андрей Николаевич Лесков /1866-1953/, сын Лескова от Екатерины Степановны Бубновой. Сложность и противоречия отношений сына и отца отражаются на страницах фундаментальной биографии писателя, написанной А. Н. Лесковым.

Письмо А. Н. Лескову*

/ИРЛИ, ф. 612, № 7. Ежег. 378./

8. Июля 884. Вторник
Marienbad. Willa Heller

Сегодня я получил твое письмо из Буртов** от 19 июня. Очень рад, что тебе хорошо, и, признаюсь — я не ожидал иного. Откуда пошли вести о нерасположении к тебе тетки и сестры*** — ты не хуже меня знаешь, но я никогда этому не верил и потому не обращал на это внимания. Мы им ничего дурного не сделали, и они не имеют ни поводов, ни причин держаться к нам недружелюбно. Эти толки — порождение ревности, не имущей любви в себе. "Пусть, мол, мы к вам добра не показали, да и другие тоже. Не дружите же с ними". Кто любит, тот так не делает, — тот ревность удовлетворяет превосходством своей любви. С нами поступали иначе и даже не пожалели нас, когда в том была насущная надобность. На других же только указывают, что т е, будто, враги нам. — Музыка эта не хитра и очень понятна, но довольно противна. Все это обходы, чтобы не сказать раз от сердца: "простите меня: вы мною обижены жестоко и не можете этого забыть, но простите меня". Так поступила бы душа живая и чистая, любящая, но иной душе лучше все эти недостойные и ничего не примиряющие извороты. Пусть так, но "я в е р ю в Nemesis" и о черствых сердцах. "Будь медлен на обиду, а на прощение скор", — а у них это наоборот. И нет дела им, что это испортило все течение жизни. Такова сила их понимания. Это противно до омерзения, именно по з л о б с т в у души. — Тебя я при случае не могу не укорять. Вина вине рознь, но твои гадости слишком упорны и слишком долго длились. К тому же и ты — и тоже никогда еще не поспешил ничем загладить ран /т я ж к и х ран/, нанесенных тобою отцовскому сердцу. Это подло и... это признак дрянной натуры, — по крайней мере — натуры, не горячей к добру, но самомнящей

и пустой, — не раздумывающей, что дни идут за днями и увеличивают, а не уменьшают страдание. Если ты не дурак по отцовской крови, то такое поведение еще менее неоправдимо, и еще более гадко. Я н и к о г д а не избрал бы другом себе человека с такою способностию. Быть виноватым может каждый, н о д о л г о б ы т ь в и н о в а т ы м, не загладив свою вину, может только дрянное существо, — человек же честный, добрый и великодушный остается в своей вине только до е я с о з н а н и я. Сознание же требует внешнего проявления, которого о д н о только может удовлетворять нарушенную гармонию. Но ты блюл свое школьное "направление", и за эту чечевичную похлебку бросал свое первородство в том одном сердце, которое для тебя жило. Ты не можешь выйти из того, что в тебе жил или дурак, не умевший отличить большое от малого, человеческое от школьнического, роковое и величественное от самого ничтожного, — или в тебе жил негодяй — и... я не имею от тебя известий: надолго ли ты еще отвел ему кров души своей. Вот что меня огорчает и глубоко волнует мою душу: я не люблю людей ничтожных по духу, и... мне тяжко до отчаяния видеть в тебе признаки этого лядащего настроения. — Я хотел бы говорить с тобою совсем не тем языком, каким говорю, вынужденный твоими незаглаженными негодяйствами, к которым /еще хуже!/ — ты относишься так с кондачка: "мало ли что было"... Это и очень глупо, и очень дурно рекомендует твое сердце. Тон тебе приличествовал бы совершенно иной, если бы ты был не школьник, а сын и у сердца своего спросил бы: как мне выразить отцу, что он может быть вперед за меня спокойнее? Это "мало ли что было" говорит мне, что ты, верно, все тобою допущенное над жизнью и над трудами отца считаешь не за очень важное... Ты думаешь, что в с е всегда поправимо?.. Ошибаешься. И твоей жизни ушла уже лучшая и беспечнейшая пора. Ты неглижировал тем, чтобы делить свободные часы отдыха с отцом и предпочитал что-то и кого-то; а вот она уже и ушла, эта пора, которою я надеялся летом ехать с тобою вместе туда или сюда... Ты учредил так,

что это никогда не удалось в целые 7 лет. — Дальше это уже будет невозможно. Вороти-ка теперь это назад!.. Подумай-ка, — каково тебе будет это вспомнить, когда отца не будет уже, и... когда ты его, быть может, поймешь и оценишь его поведение в отношении тебя... А отцовым обществом никто еще не тяготился, а его, напротив, искали. Ты принес все это в жертву какому-то негодяйству и еще пишешь: "мало ли что было!" Да; было много, — очень много гадкого. Много ушло с той поры, когда люди завидовали нашей дружбе, когда ты писал на моем столе: "Милый папа, спите спокойно: я все хорошо сделал". — Прекрасная пора миновала, и пошла гадость. Изменился не я, а ты, и ты сделал семейное горе. Вот каковы эти пустяки, к которым ты относишься с легкомысленным возгласом: "мало ли что было!". — А вот уж нам с тобою теперь и нельзя будет пожить вместе лето... Это уже и ушло... Скоро ты и из дома отца уйдешь, и... все это идет мимо, и... никогда не воротится я... А ты ничего этого не поберег, как не поберег даже самой гордости отца, придавая ее на волю всякого школьмейстера, у которого заставлял меня унижаться, а его предо мною ломаться и важничать. — Любовь отцовская /отблески любви божеской/ конечно все прощает и простить может, но страдание это велико и мучительно /.../

---

* Выдержки этого письма опубликованы в "Литературном Современнике", 1937, № 3, стр. 161, и у А. Н. Лескова, 152, 504.

** Бурты — имение Д. И. Нога, зятя Лескова, на Украине /см. А. Н. Лесков, 383-384/.

*** Тетка — по всей вероятности, Клотильда Даниловна Лескова, жена брата Лескова, Алексея Семеновича. Сестра — Вера Николаевна Лескова /родилась в 1856/, дочь Лескова от первого брака, жена Д. И. Нога.

Письмо А. С. Лескову

/ИРЛИ, ф. 220, №51, л. 10-11. Ежег. 348/

23. сент. 85. Вторник

С. п. б.

Любезный брат Алексей Семенович!

Сейчас я получил от тебя письмо о приятном и неприятном. Приятного собственно нет ничего и не будет ничего. Все самое благоуспешное, что отныне начаться может, есть только жалкая мизерия по пути к умственному и социальному ничтожеству. Все это совсем не то, к чему были приложены все мои усилия и старания. Надежда 20 лет — иметь в сыне "друга" и "собрата" в старости — разбита и обгажена. Я не из тех людей, которых надо утешать и которым горе их можно представить так и иначе. Я ничего этого не прошу и ничего не ожидаю. Какая бы слава его не ожидала, — друга у меня нет и не будет, — я живу и умру одиноким. Вот это сделано его невинным "легкомыслием"... Это немножко тяжело и больно и можно чувствовать не "желчное раздражение" — свойство ничтожное, но и настоящий гнев, являющийся последствием горькой обиды и легкомысленно попранных серьезнейших отношений. — Я не имею "желчного раздражения", но гнев горит так же, как стыд, и сказать "не гневайся" так же бесполезно, как сказать "не стыдись". Это естественные последствия своих причин. Впрочем, я прочел твои напоминания о правоте моей и вспомянул покойного Филиппа Терновского**: "это полезно, ибо очень несносно". Очень тебя благодарю за твое участие к тому, чье имя не может нынче написать рука моя. Нимало не претендую и замечания. Правда, — я бы обошел дело без них, но у всякого свой прием. Притом тебе судить обо мне с верностию довольно трудно, так как мы очень давно отчуждились и ты едва ли меня знаешь. — 25 лет ведь кое-что изменяют в людях,

даже и не очень подвижных. Изменять твоих мнений я не стану и пытаться, но имею некоторое облегчение в том, что он сносил свое время с "угнетением". Это еще что-то человеческое, а не кукольное "по легкомыслию". Он знает, что отец делал и сделал все /решительно все/, что мог для его блага, спокойствия и /независимости/ (стерто). К упрекам я глух, потому что я сделал все, что может сделать отец самый любящий, и на все имею удовольствие писать вот эти-то оправдания. У меня нет вины перед ним ни одной, ни крошечной, ни слабенькой. Я так вел, чтобы иметь право сказать себе это, и в том все мое утешение. Он не посмеет сказать моим друзьям, что это было иначе, — п. ч. ему скажут, что он подлец. — Сожаление к нему я не могу отыскать в моей душе, — я это ему сказал и теперь повторяю: я усиливаюсь только иметь к нему сострадание как к несчастному, которого, может быть, ждет самый жалкий конец. — "Жестоким" я не был и не буду, это напрасное слово, но я оскорблен жестоко и гнев, поднятый со дна души моей, не может улечься ни по чьему слову. О "гуманности" тоже слова напрасны: я не варвар, но я сам очень страдаю!.. Поймите это, пожалуйста, проще, без привлечения сюда "желчных раздражений". Я не чувствую ни нерв, ни желчи, и не глуп пока по старому, а почему ты думаешь, что, стараясь, надо быть тряпкой, — этого я не знаю. Я в таком деле все оставил бы времени, ибо если что может изменить к лучшему, то это одно время, если он в пределах времени, мне отпущенного, явит в себе не те свойства, которые мне внушают одно презрение, а иные свойства, — честной любви к труду, — чего у него не было, нет, и, всего вероятнее, никогда не будет. О нездоровье его сожалею. Всех благодарю за участие и на все расходы высылаю завтра же. Затем пусть совершается воля Промысла. Я его любил одного более всего мира, но мой разум со мною. Смерть лучше бессловия, а бессловие неизбежный удел легкомыслия и лени. Ты пишешь "угнетение духа", а мать пишет про какую-то "Альвинку", которой "достается"... Не знаю достоинств особы, так именуемой,

но к достоинствам того, от кого "достается" при этих унизительных обстоятельствах, — могу относиться только с одним презрением.

Твой Н. Л.

---

* Алексей Семенович Лесков /1837—1909/, младший брат Н. С. Лескова, врач в Киеве. О сложных отношениях с писателем, см. А. Н. Лесков, 408—411. /В этой книге приводится надпись Н. С. Лескова на подаренной Алексею Семеновичу книге: "Достолюбезному старшему/sic!/ брату моему Алексею Семеновичу Лескову, врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего/sic!/брата, бесплодного фантазера, пролетария бездомного и сея книги автора. 7 июля 71 г. СПб."/. Короткая выдержка настоящего письма в книге А. Н. Лесков, 526. Подробности о гневе писателя на своего сына см. там же, 521 и след.

** Филипп Алексеевич Терновский /1838—1884/, доцент по кафедре церковной истории Киевского университета и профессор русской истории Киевской духовной академии. О нем см. И. Я. Айзеншток, Собр. Соч., XI, 671-672.

Письмо А. Н. Лескову

/ИРЛИ, ф, 612, №8, л. 2-3. Ежег. 382/

8 Нбр. 85. С. П. б.

Писать тебе — для меня составляет тягость. Все твое прошлое, за последние годы, когда от твоего ума и сердца можно было требовать большего отчета, — представляют собой ряд низких поступков и почти сплошного безумия. О неблагодарности и неуважения к трудам моим я уже и не говорю. Дело доведено тобою до крайности и карьера твоя испорчена навсегда. В академиях тебе не быть, кроме той "сморгонской", в которой ты состоишь, — удаленный от любившего тебя отца, чтобы не возмущать его трудовой жизни твоим пустомысленным фатовством и безумством, до обращения дома отца в дом непотребный. Говорить о лучшей жизни с тобою напрасно. Ты знаешь, что было нужно, чтобы сделать нашу жизнь

раем, и ты все-таки ее разбил. Ты воспитал в себе силу — для выдержки характера, а не потребностей доброго сердца. Ты считал хорошим и желанным то, что твой отец презирал, как человек рабочий, и — смею думать — честный. Мы с тобою не слились воедино, а, напротив, стали совсем разными людьми. — Я желаю, чтобы ты был на высоте составленных тобою для себя идеалов жизни, но они никогда не будут моими идеалами, а ты знаешь, как я далек сердцем от людей, пренебрегающих тем, что по моему мнению заслуживает уважения. Обо мне, т. е. о моей старости, если я доживу до бессилия, — тебе уже не заботиться. С тою карьерою, какая единственно тебе осталась — ты сам обречен на вечное полунищенство и ничтожество. Почему ты располагаешь видеть меня "через год" — я недоумеваю. Эполетами офицера херсонского полка ты меня не обрадуешь нимало, и должен помнить, что я говорил тебе не раз: "я этого видеть не хочу". Говорить нам с тобою "через год" будет не о чем, точно так же, как не о чем стало говорить, когда ты сидел передо мною, а мы уже были далеко, далеко друг от друга... Ты все вел к тому, чтобы покинуть меня одного, и я жил одиноко, живу одиноко и постараюсь суметь умереть одиноко. Я от тебя не ожидаю никакой радости и ни малейшего облегчения, и единственное чувство, которое живет во мне для тебя, — это сострадание к человеку, судьба которого мне представляется зловещею... Так только я и могу судить по всему твоему характеру, где он являет силу и где бессилие. Это характер жалкий и пустой. Следовательно о свиданиях говорить не для чего. Это могло иметь место у твоего болезненного одра, но, слава Богу, — минуло. Живи и делай, на что себя устроил. Письмо твое было глупо, — тебе некстати делать мне замечания в какой бы то ни было форме. Я жил и без них. Плана для поправки твоей карьеры подать не могу никакого, п. ч. не знаю в тебе охоты и любви ни к какому труду, а служебная твоя карьера, — вечное ничтожество "пушечного мяса". И это я воскормил и возлелеял... Горе, горе! При том, что сделано, остается доделать начатое, т. е. получить чин и с ним звание, которое тебе нужно. Не знаю — хватит

ли в тебе выдержки и на это. Офицерствовать по деревням можешь без меня. Мне тут не в чем принимать участия. Ждать три года экзамена в академии. Это и безрасчетно, и безнадежно. В тебе нет крепких элементарных познаний, и ты никогда не выдержишь большой конкуренции. Это — химера...— Конечно, есть молодые люди, — и немало их, — которые проходят вашу сморгонскую академию, берут чин, и тотчас идут в отставку и поступают в Лесной институт, в академию художеств, даже в приказчики к торговому делу, — ибо все это лучше армейской пошлой и ничтожной жизни, — но это все птицы не твоего пера. У тебя, полагаю, — свой план, мне неизвестный и наверное мне противный, а потому могу сказать только одно: пока ты то, чем был — нам с тобою вместе быть незачем и говорить не о чем. Помогать тебе, по мере сил моих, буду, — пока ты получишь свой увлекательный чин. Дело свое советую делать, но мне оно может быть чуждо.

Н. Л.

Письмо А. Н. Лескову

/ИРЛИ, ф. 612, №8, л. 14-15. Ежег. 387 /

30. марта 86 г.
С. п. б. Серг. 56.

Из твоего письма к матери, между прочим, видно, что ты обижен. Ты пишешь: "я писал отцу, — я знаю, что он получил мое письмо и он мне не отвечает: это мне обидно". Я не раз указывал тебе такие твои слова и действия, где ты обнаруживал не ум, а глупость. Это бывает полезно человеку, который не умеет себя понимать. Ничего не может быть обидно тому, кто не имеет прав ни на внимание, ни на снисхождение, и кто, если что-нибудь получает, то не по праву своему, а по милосердию дающего. Никаким знаком моего невнимания или даже пренебрежения ты обижаться не вправе и лучшим тому доказательством служит то, что ты не имеешь ничего, что бы могло постоять за такое право. В моих

глазах ты достоин одного глубокого презрения, весьма часто даже без жалости, ибо сожаление, которое убережет тебя, может быть, сохранит только холодного, бессердечного негодяя и слабовольного рецидивиста, готового запакостить все, на что может хватить его пакостных наклонностей. В 20 лет жизни, протекшей на моих глазах, ты не показал еще ничего такого, что бы изменило во мне это мнение, укоренявшееся целые пять последних лет, и ты знаешь, что т а к о в, к а к ты е с т ь, ты не можешь быть мне ни мил, ни приятен. Люди такого сорта мне противны вчуже, а в сыне эти черты еще ненавистнее. Твоих обид я не хочу знать и не должен их видеть из-за великих и нестерпимых обид, нанесенных тобою моей отцовской любви и благородной, а не пустой гордости честного, рабочего человека. Ты обидел все лучшие мои чувства и надежды, и ты еще говоришь об обиде, заключающейся в том, что я не отвечаю на твое письмо, которое вдобавок мне не нравится по его фразеологии и "легкому сердцу". Ты испортил свою жизнь и жизнь отца и ты обижаешься!.. Ты глупец или совсем дрянь. "Мы вам пищали, а вы не пляшете", сказано о таких как ты в Писании. Не удивляйся этому. Наделать горя, унижения, убытков, все расстроить и написать письмо, — это не значит искупить свою подлость и получить право на равные отношения. Ты мне не равен, ибо я перед тобою во всем прав, а ты передо мною кругом виноват. Тебе остается делать свое дело, а не считаться со мною. Иного пока я ничего для тебя не вижу. Пророчества мои, к несчастию, над тобою все сбываются: новые правила лишают тебя возможности оставить военную службу ранее 3-х лет после производства в офиц/ерский/ чин. Один прогулянный тобою год принес тебе это неожиданное и новое затруднение. Надо переходить сюда в школу подпрапорщиков и искать здесь возможность поступить в какую-нибудь военную часть в П-бурге или в Финляндии. На это б. м. можно надеяться, если я буду жив. Другое ничто теперь невозможно и потому должно стремиться к одному этому. /.../

Письмо А. Н. Лескову

/ИРЛИ,ф. 612, №8, л. 16-17. Ежег. 388/

27. Июля 86. Воскресенье.
Аренсбург, Hofen Stras. 38

Я получил вчера твое письмо от 20 июля. Благодарю тебя за предупредительную решимость повернуть дело так, чтобы мне не пришлось сказать: "здравствуй, одинокая старость!" Как все твои попытки к добру, решимость эта запоздала и остается ненужной и бесполезной. Я уже встретил мою старость и не нахожу ее тяжелой со стороны одиночества. Одиноким я привык жить во всю жизнь и надеюсь, что сумею и умереть без жалоб на это лишение. Молчаливое и спокойное одиночество мне всегда было милее и желаннее сообщества с людьми чуждого мне духа и стремлений. Каков я в этом отношении был смолоду, — таким же остаюсь и стареясь, — и с этим вкусом и настроением желаю закрыть глаза на этот мир, добро и зло которого я видел и различал, и добро возлюбил, а зло возненавидел. Отличаясь от меня по духу и настроению, ты чужд душе моей, ибо вся сила единения только и заключается в одном духе. "Плоть и кровь не пользуют ничего". А потому я не скорблю, что мы не вместе, ибо, будучи вместе, я еще сильнее чувствовал бы твое противное душе моей направление и мы были бы чужды друг другу еще больше, чем ныне. Ничего "неестественного" в нынешних наших отношениях нет, а, напротив, они есть самое естественное последствие нашего несходства. Что я считаю за великое и достойное, то тебе ненужно, и наоборот. Сойтись нам не у чего, и следовательно незачем. Иди своим путем, который ты возлюбил и избрал и не будь глуп — не "возлагай огромных надежд на нашу личную встречу". Опять повторяю вероятно известные тебе слова: "плоть и кровь ничего не пользуют", а души наши направлены разно и как две касательные линии, некогда бывшие близкими, — чем дальше потянутся,

тем шире разъединятся. Для себя самого, если ты дорожишь моим мнением, — ты можешь сделать только одно: сделаться трудолюбивым человеком, не рассчитывающим на случайности, и любящим добро не в теории, а в простом и трезвом его применении на всяком месте и всякому лицу, — другу, как и врагу, если не с одинаковым удовольствием, то с одинаковым старанием. Таким, каков ты был и каким нынче мне кажешься по твоему письму и подходящим до меня слухам, — ты никакого удовольствия принести мне не можешь, и напрасно ожидаешь каких бы то ни было благоприятных последствий от личной встречи. По кр/айней/ мере мне это вовсе не нужно. Если бы ты когда-либо стал другим, — стал человеком согласного мне духа и разумения жизни, — тогда мы поймем друг друга и тогда свидание может принести радость с собою, — а так, как все есть в тебе ныне — нам не о чем говорить. Я эти чувства помню и знаю — должен их знать и ты. Ничего подобного не надо. Вещественно я готов помогать тебе в пределах моей возможности, но навязываться с моим пособием, конечно, не стану. В последний раз я выслал деньги Алексею Се-нычу* только потому, чтобы он не истратил своих и не обижался этим. Иначе я, конечно, не послал бы ничего. Если ты можешь меня игнорировать — я не в претензии на это. Если попросишь, что нужно — я дам, что могу. Другого ничего быть не может. Если тебя приведет в Петербург, то я тебе возвращаю твое место в моем доме, без всяких иных разговоров, но под условием уважения к моему дому и ко всем моим обычаям и привычкам. Поистине это все, что я могу тебе сказать, и мне кажется, что это во всяком разе больше того, чего ты достоин.

В рассуждение "тона" для писем, выбор коего тебя сильно затрудняет, я тебе могу оказать довольно существенную помощь: "тон" твоих писем, /если ты желаешь писать их ко мне/ должен быть и может быть всегда один и тот же, — этот "тон" называется почтительным. Я к нему привык и имею на него право, — особенно от тебя, который в 20 лет жизни мог бы понять: что ему принесено и чем он воздал

за любовь и заботы! Ты не забудешь, конечно, этих моих слов и вперед никогда не собьешься с того тона, в котором единственно я тебе дозволяю писать ко мне.

Н. Л.

Между находящимися здесь больными кадетами и юнкерами есть Гарязин, Величко и Жербин. — Гарязин тебя приветствует и помнит, как ты "легко шел на всякую глупость".

---

* Алексей Семенович Лесков, брат писателя, дядя Андрея Николаевича Лескова, см. выше письмо к нему Лескова.

Письмо А. С. Суворину

/ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 144-145. Ежег. 884 /

29. Нбр. 88 г.

Ничего другого не остается, как удержать слово о смирении и опять за смирение браться на деле. Я Вам очень благодарен за Ваши письма, они меня часто возбуждают и оживляют. Кроме того, Вы в них часто бываете справедливы, но не всегда. Мне кажется, что я Вас оч/ень/ знаю, и думаю, что характеристику Вашу я мог бы написать лучше многих, кот/орые/ видят Вас часто. Пусть-ка они изобразят: справедливый Вы человек или нет? Человек "вначале" был сотворен так, что в одном лице совмещал "мужа и жену", т. е. был и мужчина и женщина. С тех пор, как произошло разделение, бывает, что в тело мужчины попадает женский характер и наоборот, но в Вас самый старый атавизм: "муже-женское естество крова". Вы очень справедливы по мужской честности и склонны к страшной справедливости, как нервная женщина, которую нудит какая-то потребность кого-то

ущипнуть... Есть ведь такие женщины, которые даже просят: "позвольте Вас ущипнуть". И Вы щипите, и часто незаслуженно, и больно, и без сожаленья. "Пострадал" ли я? Надо думать, что не поблаженствовал, а карикатуры /sic!/ я не писал, а списал картину, б. м., очень дурно, но это не карикатура. Что касается "смирения нашего", то, разумеется, я его беру в шутку, но думаю, что желание усмирять себя во мне есть, и оно очень искренно. Удается это не всегда, — ибо "человек падок". "Смешным" Вас не называю и не почитаю, а пыл диалектики в Вас есть. На Циммермане прописался. Действительно "Цукерман — руки белые в карман". Теперь о делах.

1/ Запискою не торопитесь. Я не думал, что это надо справляться и вдвое рад, что не сказал на-оболмаш. Я Вас уверяю, что я не помню. Отчего Вы не хотите верить, что я не лгу? А я давно никому не говорю никакой лжи и не хочу ее говорить.

2/ "Котин Доилец" меня самого мучит*. Он готов и его можно выпустить, но Вы хотели, чтобы я приписал конец за особый гонорар. Я это хотел сделать, и начал, и вдруг почувствовал, что это не идет, и что это даже невозможно. Я не томлюсь, и стыжусь, и откладываю, ожидая, что авось — либо — снизойдет осенение, — а оно не нисходит. По-моему, лучше бы было, если бы эти картины так и оставить картинами. Гораздо это художественнее и лучше, чем придуманный конец. Если бы Вы так распорядились — я бы это принял с радостью. Я употреблял над собою большие усилия, но ничего не вышло. Посмотрите еще раз отпечатанные листы, и не покажется ли Вам, что этюд так и можно оставить? Ну, а уж если непременно дописывать, то — что же делать, — надо додумать что-нибудь. Только — ей-право — это напрасно**.

3/ Обо мне теперь писать не годится. Вы опять не в том духе, чтобы помочь мне, а, напротив, в том, что мне "все поделом". Ну и быть тому делу так. — Мне, впрочем, кажется, что я сам виноват в какой-то неясности, да и Вам некогда. Оставимте и не будем никогда к этому возвращаться. Сам о себе писать я не стану. Пожалуйста, и не сердитесь, но позабудьте об этом.

4/ Посылаю Анне Ивановне*** книжечку Берсье****. Его беседы "О придворном проповеднике" /Иоанне, кот. кричал царю Ироду из погреба*****/ — я у себя не нашел. Верно, кто-то зачитал. Из продажи эта брошюра изъята. Я еще попрошу "Придворного проповедника" у других, кто запасся этим очерком.

и 5/ Прикажите /сейчас, если можно/, чтобы мне прислали корректуру "Инженеров"******, — а то там было нечто сорвано и нехорошо, чтобы оно в том же виде перешло опять в новую книжку.

Лжесмиренный Ересиарх Николай

NB В этой форме подпись хороша или нет?

Письмо дано с незначительными сокращениями. — *Ред.*

---

* "Котин Доилец и Платонида", повесть Н. С. Лескова, появившаяся отдельной книжкой в издательстве А. С. Суворина в 1888 г. Первоначально она принадлежала к циклу "Старогородской хроники".

** "Котин Доилец и Платонида" появился без изменений, как "эпизод из неоконченного романа "Чающие движения воды", в сборнике "Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого" /автора романов "Некуда" и "Обойденные"/, т. 1, Спб., 1867. Для суворинского издания, о котором здесь идет речь, был приписан конец, схожий с концом рассказа "Павлин"/1876/.

*** Анна Ивановна Суворина, жена А. С. Суворина.

**** Эжен Берсье /1805—1889/, французский проповедник и богослов.

***** Речь идет об Иоанне Крестителе, предтече Христа, который был посажен в темницу царем Иродом, приказавшим отсечь ему голову /Евангелие от Матфея, 14, ст. 1—12, Евангелие от Марка, 6, ст. 14—29/.

****** Рассказ Лескова "Инженеры-бессеребренники. Из историй о трех праведниках" появился отдельной книжкой в издательстве А. С. Суворина в 1888 г.

Открытка С. Н. Терпигореву* от 5 июля 1889

/ИРЛИ, ф, 308, № 23, л. 27. Ежег. 961 /

"Доилец-а — кормилец, кормилица, коя кормит". Словарь словено-русск. 1815, т. 1, стр. 278.

"Дойти — грудью кормить" — Ibidem.

"Доить — выжимать молоко из сосцев, — также кормить грудью". Академ. сл., т. 1, стр. 541.

"Доилица — кормилица". "Уби отроча и доилицу его", — Ibidem.

"Доить: 1/ вытягивать молоко из сосцев;
2/ давать из себя покорм". Общий сл., т. 1., стр. 641.

"Доилица — кормилица": "украде отроча и утаи доилицу его", — Ibidem.

"Доилица — скотница, к. доит коров" — Ibid.

* Сергей Николаевич Терпигорев, писатель под псевдонимом "Атава" /1841—1895/, друг Лескова. По-видимому, публикуемая здесь открытка вызвана недоумением Терпигорева перед словом "доилец" в повести Лескова "Котин Доилец и Платонида".

А. Н. Пешковой*

/90-е годы/

/ИРЛИ, ф. 227, № 62, л. 139. Ежег. 716 /

Никогда на панихиды не хожу: моления этого не понимаю; от отца моего имел завет панихид не служить, о себе завещаю то же самое. Все это противно словам Христову: "оставьте

мертвым погребать мертвецов"**. Берегите свои силы для настоящего горя: "умершие блаженны", а оставшиеся жить здесь все облечены этой смертью. — Вы занимаетесь пустяками, которые стыдно слушать от женщины, понимающей жизнь. Не пойду я на панихиды, а Вы платите за них, если "такая позволяет".

Н. Л.

* Александра Николаевна Пешкова-Толиверова /урожд. Сусоколова, в первом браке Тюфяева, во втором Якоби, в третьем Пешкова, псевдоним "Толиверова"/ /1842—1918/, детская писательница, после смерти Т. П. Пассек стала издательницей детского журнала "Игрушечка".

** Евангелие от Матфея, 8, ст. 22.

Письмо А. Н. Пешковой

/ИРЛИ, ф. 227, №62, л. 130-131. Ежег. 710/

12,июля 90. Шмецк

Мне очень досадно, что я не оправдываю возложенных Вами на меня надежд и ожиданий, в отношении клички сборника* ; но это так трудно мне, что я не могу ничего сделать. Кличка всегда должна быть "по шерсти". Отсюда и поговорка "По шерсти кличка". Так, напр.: "Величка — по шерсти кличка". Также собак кличут: "рябка", "серка", курицу "желтушка", "пеструшка", коня "гнедко", коровку "буренка"... и т. д... Все "по шерсти". Какая же "шерсть" у Вашей книжки?.. Это номер "юбилейный", т. е. с л у ч а й н ы й , — случай прошел, и книжке смысла нет... По настоящему судя, ведь это так... Но даже и еще того менее: это был "юбилейный" номер после смерти юбиляра... То есть просто чорт знает что, к чему и на что... Просто — пустая, нерассчетинная затея упрямой и недоступной здравому убеждению женщины,

которой пришла в голову блажь и она на своем поставила и изрядные вещи затолкла в один ворох с бабьими окомелками... Вот и доходит по-маленьку до толка и до "шерсти": по шерсти кличками могли бы быть: "Блажь", "Ворох", или "Окомёлки". — Это логично и верно, но Вам небось не понравится...

Оставим литературный прием и будем искать кличку не по шерсти, а к а з о в у ю , — придираясь к тому, что там есть самого лучшего, г л а в н о г о , выдающегося, литературного... По совести я такого не вижу. Главное там — болтовня про умершую старушку весьма н е высокого личного характера и третьестепенного литературного значения**. Наболтано как по-бабьи наплевано: проплыла баба, — гузном из воды повертела и опять сошлась вода и ничего более не видно. По чем тут дать кличку?.. "Татьянин день", или "Татьянина горка", или "Бабушкин курган", или "Старушкин колобок". Вот только и можно что-нибудь в этом роде. Это будет отчасти обман для публики, — особенно для тех, у кого есть уже "юбилейный номер", но делать уж нечего: "торговать, так и надувать". Если предлагаемые клички подходят, то одну из них и усвойте книге, а иного я, — право, — не могу придумать по винегретности блюда, которое должно теперь представить собою не винегрет, а что-то цельное. Я не вижу других заглавий и думаю, что "Татьянина горка" мож, быть даже недурно. Всякого поднадует "что, мол, это за место: "татьянина горка"? Где она, и что там бывает?" Это может заинтересовать, и человек попадется, и выпишет скучный перезвон колоколов по покойнице, до которой детям нет никакого дела и интереса. А как Вам и тому, кому книжка продана, только это и надобно, то и искать другого заглавия нечего. Но к у п е ц может выдумать лучше этого, — т. е. наглее, смелее и более надувательно. Они на этот счет г е н и а л ь н ы . Он м. б. назовет "Феникс", или "Огненный столб", или "Светофарный луч из-за туч", или еще как иначе. Они на это искусники и ничем не постеснятся. Смотрите-ка, что откалывают Ступин или Леухин... Кто их превзойти может? И потом: если книжка н е пойдет /чего я не думаю/ при

заглавии, которое Вы ему дадите, — он будет иметь причину сожалеть, что ему в чем-то как будто "помешали", и для этого будет основание; а если он с а м даст кличку, — тогда ему н е на ч т о ж а л о в а т ь с я . . . В этом, по-моему, для Вас очевидная выгода, и охрана своему достоинству, но Вы ни того, ни другого не видите и сами налезаете на риск и на рожон. Так говорю Вам по-дружески, и зная, что Вы никогда резонного совета не послушаетесь. Но мое дело сказать правду, как я ее вижу.

Н. Лесков

Очень хочу знать, что с другом моим Зиною***? Я ее все так же очень люблю и очень жалею. Для чего она ко мне не приедет?

* А. Н. Пешкова-Толиверова хотела издать сборник в память Татьяны Петровны Пассек, издательницы журнала "Игрушечка".

** Татьяна Петровна Пассек /1810 - 1889/, писательница. Ее некролог написал Лесков: "Литературная бабушка", "Всемирная Иллюстрация", 1889, № 15, стр. 265-267.

*** Зинаида Петровна Ахочинская /1861-1933/, художница из круга друзей Лескова.

Письмо О. С. Крохиной*

/ИРЛИ, ф. 220, №41, л. 27-28. Ежег. 246/

17 Нбр. 90 г. С. п. б. Фршт. 50, 4

Послав тебе телеграмму, я все дни ожидал, что ты приедешь, и не знал — в каком виде? Я писал тебе о больнице, т. к. думал, что тебе, вероятно, нужна операция. То, что ты пишешь, гораздо менее ужасно. От сердца можно умереть, но это не так долго и не так мучительно, как операция в облас-

тях женских органов. Проехаться иногда не худо, но детей бросать рискованно, а их таскать, — это и дорого, и связно: надо сообразоваться с их временем. По-моему, лучше бы теперь посидеть, а за то летом приехать в Шмецк... Это было бы гораздо полезнее. Во всяком случае для краткой беседы ехать — это слишком барственно. Лучше потерпи и постараемся съехаться на лето. Таков мой совет. Что же касается "биения сердца", то что это значит в сравнении с тем, что я ношу в своей груди?.. И чего ты трусишь? Усиленное биение сердца — это "боншанс"... Чего же лучше? Или ты надеешься избежать смерти?.. Что это за глупость — бояться того, что неизбежно и придет непременно? Ты похоронила мужа, как миллионы женщин похоронили своих мужей, и не имеют средств ни разъезжать, ни приглашать докторов для прописки валерьяна и дигиталина. Одной женщине, которая так же скрипела, как ты. Будда велел пройти по свету и попросить во всяком доме корочку хлеба, с тем, что, когда ей дадут корочку в таком доме, где никто не умер, то ея печаль пройдет... Она обошла множество мест и везде ей давали по корочке, но — увы, везде, во всяком доме уже кого-н ибудь похоронили. Она поняла, что ей хотел показать св. Будда и утешилась. Пойми и ты, что горе твое не что-либо необыкновенное, а оно есть дело самое простое и самое обыкновенное, которое миллионы людей перетерпели и другие миллионы еще перетерпят... Стыдись же малодушествовать и исполнять тревогою молодые и восприимчивые сердца детей! Ведь этакая чепуха, недостойная христианки, кладет печать на их характеры, и из них тоже выйдут мнительные пискуньи, а жизнь их, может быть, совсем не будет отвечать этому. И что тебе такое вступает в голову? Умереть — ведь это необходимо и неизбежно, и это случается и здесь, и там, и повсеместно. Чего же метаться и ахать? Лучше того, что ты пережила, уже не будет, а все будет хуже. Это тоже ясно и, имея рассудок, надо быть готовой на это. Чего же бьется твое сердце?.. Верно, хочешь с Богом поспорить или посудиться с Ним, что ли? Оставь все эти глупости и доживай век, как доживают умные и рассудительные люди,

а не как бабы-пищалки. Это срам и дрянной пример дочерям. После такого примера что уж им и говорить о религии! В чем она — в чем ея сила и утешение? Не в панихидках ли или в сорокоустах и в других сим подобных языческих штучках?.. Вот без Бога-то живого и тяжело!.. Покорись воле Божьей; помни, что смерть нужна, — через нее только и обновляется жизнь на земле; и все мы умрем без исключения, и, вероятно, довольно скоро... Так о чем "биться сердцу"? Стыдно и безрассудно. Делай свое дело, и оставь Богу делать общее дело творения. "Таков удел всего живого — умирать! Да; таков удел наш!" Пожалуйста, ты более не срамись этими пустяками при детях!

Из Киева К. С. Б-ва** пишет дочери***, что к брату А. С-чу**** приехала Женни*****, и что там есть предположение ехать в П.бург.— Я же не получаю от А. С. даже самых кратких ответов на деловые вопросы. По-видимому, он завел свое презрение ко мне "за пределы", и я тебе не могу ничего советывать, как тебе держать себя с Киевом. Я думал бы, что именно на случай чего-нибудь с тобою детям в Киеве лучше, но... может быть и нет... Не давай глупостей сердцу! Детям худо будет.

Н.

---

* Ольга Семеновна Крохина /1846—1893/, сестра Лескова.

** Катерина Степановна Бубнова /урож. Савицкая/, родилась в 1838 г., вторая жена Лескова, мать Андрея Николаевича Лескова. О ней см. А. Н. Лесков, 215-222, 349-359.

*** Вера Михайловна Бубнова /в замуж. Макшеева/, дочь К. С. Бубновой от первого брака, падчерица Лескова.

**** Алексей Семенович Лесков, о нем см. выше.

***** Е.М. Болотова.

Письмо О. С. Крохиной*

от 21 июля 1891

/ИРЛИ, ф. 220, № 42, л. 7-8. Ежег. 253 /

/.../ Ты видела в жизни дружбу и любовь со стороны человека такой превосходной чистоты и благородства, каков был Н. П-ч**, — и Бог дал тебе это на долгое время, — более десятка лет... Помни же это удивительное добро, которым пользовалась, и умей быть за него благодарна и признательна Богу, в благоговейном молчании и покорстве. Другие ничего этого не имели, а ведут себя без пискотни и жалоб, которые всегда выражают непокорность и неблагодарность к Богу. Этого не поправят ни панихиды, ни молебны, ни попы, ни доски с влипшими в них грошами /как гроши Костика на Панине*** влипли в спинку стоявшей в сарае коляски/ /.../

Ты кланяешь доскам, а у тебя нет веры в вечного Бога, который тебя создал для известных Ему целей, и твое или мое, или наше общее дело жить в том положении, в каком Ему угодно нас ставить. Что ты с Ним споришь?— Для чего ропщешь или хочешь склонить Его через адвокатов, за кадило да свечку, чтобы Он изменил то, что Он признал для нас лучшее? Разве ты умнее Его и лучше знаешь что Ему надо делать и чего не делать?.. /.../

---

* Фраза из этого письма приведена А. Н. Лесковым, 388.

** Николай Петрович Крохин, зять Лескова. О нем см. А. Н. Лесков, 509-521.

*** Село Панино Кромского уезда Орловской губернии, имение Лесковых, где Лесков провел детство с 1839 г.

Публикацию подготовил Жан-Клод МАРКАДЭ

ИГОРЬ ЧИННОВ. "АНТИТЕЗА". СЕДЬМАЯ КНИГА СТИХОВ. ВАШИНГТОН, 1979. 114 СТР. BIRCHBARK PRESS, ПОРТРЕТ АВТОРА, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ПРОФ. ДЖ. ГЛЭДА И ПРОФ. В.ТЕРРАСА. БИБЛИОГРАФИЯ. ЦЕНА - 5.00 ДОЛЛ.

ИЗ ОТЗЫВОВ О ТВОРЧЕСТВЕ ЧИННОВА

Из отзывов о творчества Чиннова

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ, 1971. "Это на редкость искусный поэт. С первого же появления в печати стихи его пленяли едва уловимыми, тончайшими, будто перламутровыми переливами оттенков, причудливо-печальной мелодией, в них приглушенно звучавшей... Однако в недавние годы с ним что-то произошло... И стиль свой он резко изменил... Вторжение демонстративной грубости в поэзию Чиннова — например, таких строк, как "Васились, нет, Васька Прекрасная", вторжение еще более демонстративных нелепостей, вроде "Лошади впадают в Каспийское море", отнюдь не случайно... Игорь Чиннов остался даже и при Васьках с лошадьми, впадающими в Каспийское море, поэтом не менее изощренным, чем был когда-то. Не менее одухотворенным поэтом... Очарование новых чинновских стихов по-прежнему пронзительно... "Партитура" — книга значительная, в высшей степени своеобразная и по-настоящему мастерская".

АЛЕКСАНДР БАХРАХ, 1979. "Теперь тех, которых с достаточным основанием можно назвать поэтами, а не людьми, пишущими стихи, можно с трудом пересчитать по пальцам. А среди этих избранных нельзя не выделить Чиннова, выпустившего уже шесть стихотворных сборников... Ему удалось создать свой особенный стиль. Его стихи, действительно, с другими не спутать, а это, первый признак подлинной талантливости .

В. ВЕЙДЛЕ, 1977. "Уже первый сборник Чиннова "Монолог" может быть охарактеризован, как монолог приговоренного к смерти... О том и "Линии" и все три последовавших за этой книгой сборника... Нагота темы многообразно в них прикрыта роскошной образностью /"Метафоры"/, столь же роскошной оркестровкой /"Партитура"/, хитроумными постройками воображения и расчета /"Композиция"/... В каждой пасторали Чиннова затаились слова: Et in Arcadia ego, — которые произносит Смерть. Зато погляди, какова эта чинновская Аркадия нынче! Она ведь и прежде у него намечалась, но такой радужной, красочной, сладостной еще никогда не была, а наполовину порождающая все эти краски звуковая убедительность и насыщенность стиха еще никогда не достигала у него столь высокого предела, никогда так счастливо не сливалась с интонационной его музыкой. И как она разнообразна, Аркадия его! Тут и Греция впрямь, но и Стамбул, и "влажно-солнечные Гавайи", и Рим, и Париж, и "узорчатая Альгамбра", и Бродвей, и Пикадилли, Португалия, Дворец дожей, Эскориал. И все это сияет и живет. Все это льется и поет".

РОМАН ГУЛЬ, 1961. "В этих прозрачных и легких стихах... есть своя чинновская мелодичность и своя ясная камерная музыка... Игорь Чиннов владеет высоким мастерством, органически связанным с темой его мироощущения".

ГЛЕБ СТРУВЕ, 1956. "... Игорь Чиннов, имя которого теперь известно всем любителям стихов в Зарубежьи... В 1950 г. вышла его первая книга "Монолог", которую С. К. Маковский приветствовал как "рождение поэта". Чиннов — неожиданное и несомненное приобретение зарубежной литературы".

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ, 1979. "Стихи Чиннова сложны, изощренны, и законы поэтического ремесла ему прекрасно знакомы. Но за ремеслом стоит и то необъяснимое, что служит ему строем — внутренний слух, улавливающий гармонию..."

Заказы и чеки посылать по адресу: Emanuel Sztein, 594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477.

Наталия ГРОСС

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЭДУАРДО АРРОЙО

Эдуардо Арройо, испанский художник-эмигрант, обитающий в Париже, в каталоге тематической выставки 1971 года "30 лет спустя" так декларирует политическое кредо своего искусства: "Мои картины обличают не только фашистский режим в Испании. Они направлены против любого тоталитарного строя".

На огромных холстах Эдуардо Арройо в плакатной попартистской манере написаны маслом монументальные фигуры — по пояс или в полный рост — богатырские спины призрачных людей в стандартных пальто-френчах и стереотипных шляпах. Вместо характерной для портретного искусства запечатленной индивидуальности, вместо лиц — пустое пространство, как бельмо, заполненное механистичными цветными мазками и пятнами. Когда ощущение безликой стандартизованное™ тоталитарного мира доведено до логического предела. Арройо прибегает к коллажной технике, вырезая по трафаретам шляпы и пальто своих антигероев и наклеивая их на холст.

Образы Арройо словно обращены в праздничные и будничные ритуалы советской жизни. Для советского зрителя в картинах испанского художника-эмигранта оживает галерея знакомых образов советской бюрократической власти, правящей верхушки вождей и их адъютантов.

Это серые, сумрачные люди с пергаментными лицами, манекены или мумии, с бессмысленным остекленевшим взглядом, застывшие в кататонических позах, будто члены Политбюро на трибуне мавзолея.

В своих композициях Арройо нередко помещает фигуру в тыловой проекции, изображая вид сзади, со спины. И тогда мрачные, серые человечки на полотнах Арройо, спрятавшие лица, старающиеся прошмыгнуть незаметно и затеряться в толпе, видятся родственными отечественным стукачам и топтунам, безликим гражданам в сером, следящим и следующим по вашим пятам. Арройо создает мастерски злую пародию на парадную портретную живопись пресловутого соцреализма: стереотип единовластного диктатора и его сообщников в стандартных униформах-одеждах: начищенных до блеска черных ботинках, черных пальто-шинелях и серых фетровых шляпах массового пошива.

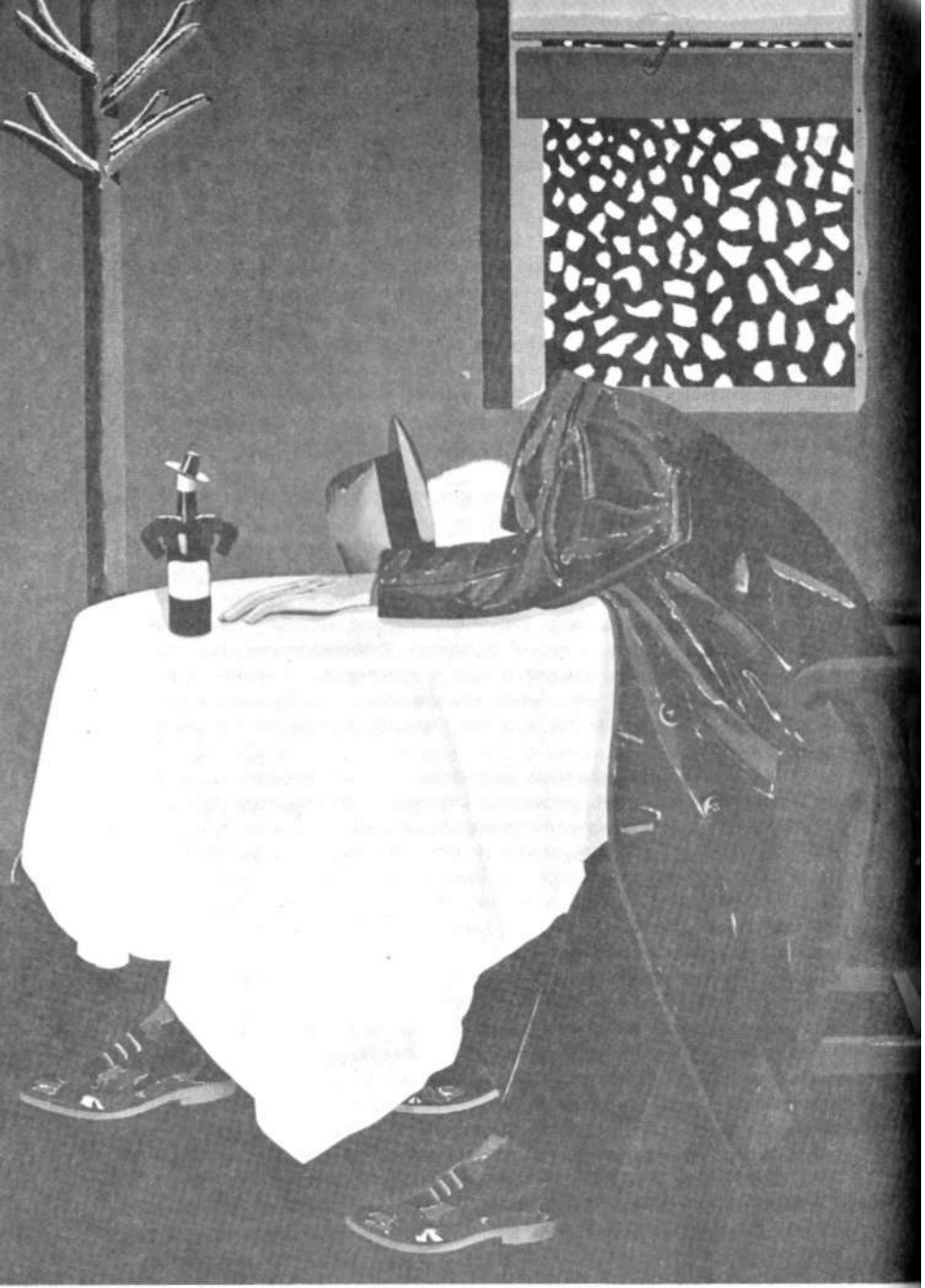
Живопись Эдуардо Арройо, покинувшего по политическим мотивам родину в знак несогласия с режимом авторитарной диктатуры, — это в определенной степени программное политическое искусство, выражающее протест современного либерального интеллектуала против репрессий тоталитарного бюрократического государства. Цикл работ, созданный художником в 1977—1978 годах, как бы обосновывает правильность избранного эмиграцией пути — выхода из тупика, куда неизбежно попадает человек тоталитарного общества. В отличие от бессюжетных портретных композиций эти нарочито иллюстративные полотна, изображающие обыск, арест, физическую расправу и, наконец, бегство за рубеж, самым непосредственным образом связаны с политической концепцией искусства у Эдуардо Арройо. Эта концепция "политически ангажированного" искусства сближает его с художниками-эмигрантами, людьми его поколения и сходной биографии, политическими изгнанниками из Советского Союза, обосновавшимися в Париже.

"Я всегда опираюсь на политические идеи, фотографии и политические документы", — заявляет Арройо.

В яркой, попартистской манере он воссоздает интерьеры, изувеченные обыском: покосившиеся картины, расколотую мебель с обнажившимися пружинами, беспорядочно разбросанные вещи. "Шмоном" заправляет характерный герой живописи Эдуардо Арройо — безликий человек в серой шляпе и серых перчатках. Знаменательно, что этой серии полотен на тему обыска и ареста предпослано красноречивое название, вызывающее невольные ассоциации с современной советской историей: "Счастлив тот, кто, как Одиссей, отправился в дальний путь".

"Идеи всегда представлялись мне наиболее существенными компонентами моей живописи[1], тогда как собственно эстетические и художественные проблемы казались второстепенными", — говорит Эдуардо Арройо. Тем не менее, политическая живопись этого испанского изгнанника, соответствующая модернистскому, авангардному духу сегодняшнего искусства, исполнена не только мастерством, лаконичной графичностью, колоритной живописностью, но и определенными чертами декоративности.

Политизация искусства у Арройо связана не со стандартизацией художественного мышления, а, напротив, с раскрепощением, освобождением от художественных канонов и норм. Поэтому "политически ангажированная" живопись художника, выступающего против традиционной политической иконографии — лозунгов, транспарантов, портретов вождей — обнаруживает неповторимую индивидуальность. Своей бескомпромиссной позицией по отношению к официозу любых мастей в искусстве — будь то эстетика социального заказа Гитлера, Франко, Сталина или сегодняшних авторитарных правителей, — Арройо утверждает, что политические идеи, если они проповедуют индивидуальную и художественную свободу, могут быть благотворны для искусства.

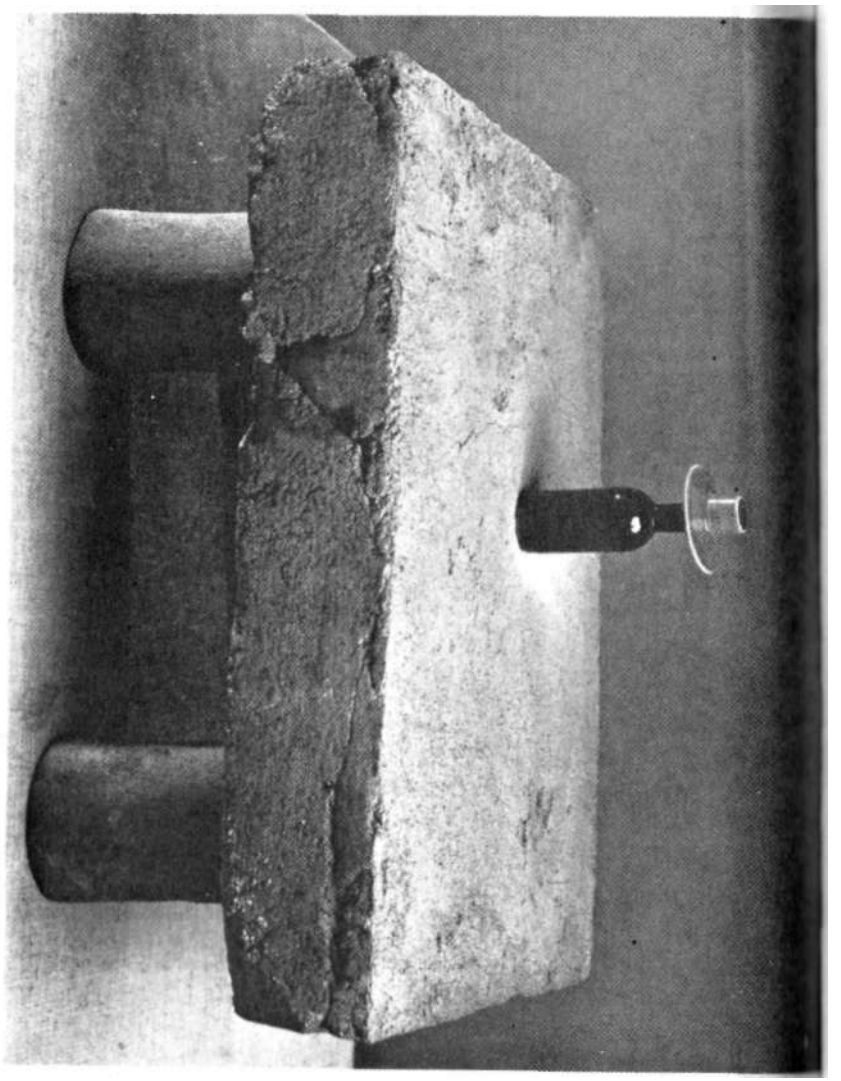


Надежда и безнадежность I.

Надежда и безнадежность II.

Среди художников. Коллаж.

Возвращение изгнанников.



Скульптура.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

В Новом Русском Слове сотрудничают лучшие литературные силы эмиграции. Газета имеет собственных корреспондентов в Иерусалиме и Тель-Авиве.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Евгений ЦВЕТКОВ. Родился в 1940 году. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Работал геофизиком в Институте физики земли АН СССР, там же защитил диссертацию. Затем перешел в журнал "Знание — сила", где работал заведующим отделом физики и химии. Автор многих статей и очерков, публиковался в "Неделе", журнале "Знание — сила" и в других. В Израиле живет с 1976 года, публикуется на страницах журнала "Время и мы" и других русскоязычных изданий.

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 50.

Семен ЛИПКИН. См. журнал № 50.

Юрий ИОФЕ. См. журнал № 45.

Лия ВЛАДИМИРОВА. /Юлия Дубровкина/. Родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного кинематографического института; писала сценарии для кино и телевидения. В СССР опубликовала несколько стихотворений. Выехала в Израиль в 1973 году. Выступает с поэтическими произведениями в "Континенте", "Сионе", "Меноре", "Новом Русском Слове", "Гранях", в журнале "Время и мы".

Исайя БЕРЛИН является одним из глубоких и блестящих мыслителей нашего времени. Родился в Латвии в 1909 году, воспитание получил в Англии. В 1956 году получил профессорскую кафедру общественных и политических учений в Оксфорде. В 1974 году был избран президентом Британской Академии. Приобрел широкую известность во всем интеллектуальном мире как философ, историк и эссеист.

Исраэль ШАМИР. Родился 1947 году в Новосибирске. Занимался в университете на юридическом и математическом факультетах. В 1969 году приехал в Израиль. За последние годы объездил Вьетнам, Конго, Японию, Непал, Камчатку, Исландию и др. страны. Публиковался во многих израильских и зарубежных изданиях. В настоящее время живет в Иерусалиме.

Игорь НОЛЯИН. См. журнал № 49.

Лидия ВОРОНИНА. Родилась в 1947 году на Сахалине. Окончила философский факультет МГУ, работала в Институте научной информации по общественным наукам. За диссидентскую деятельность в 1977 году была выслана из СССР. В настоящее время живет в Вашингтоне, заканчивает философскую аспирантуру Католического университета.

Н. ПРАТ /Анатолий Парташников/. Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве, в 1935 году. Учился в Киевском медицинском институте, который не окончил из-за ареста. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "антисоветскую деятельность". После освобождения жил в Киеве, работал санитаром на станции скорой помощи. В 1968 году окончил философский факультет Киевского университета. Работал переводчиком научной литературы с английского языка на русский. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Н. Прат — постоянный автор журнала "Время и мы".

Наталья БЕЛИНКОВА. Родилась в 1930 году в Москве. В 1953 году окончила Московский университет, в 1958 году — аспирантуру Литературного института Союза писателей. Работала учительницей в школе, на кафедре русской литературы в литинституте, литературным редактором журнала "Москва", рецензентом "Нового мира". В 1957 году вышла замуж за Аркадия Белинкова. В 1968 году вместе с Белинковым эмигрировала в США. На Западе преподает русский язык и выступает с лекциями в различных университетах США. После смерти Аркадия Белинкова была составителем широко известного альманаха "Новый колокол". Подготовила к печати и издала книгу А. Белинкова "Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша". Регулярно выступает на страницах рускоязычной печати.

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" издается как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширяется тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация писем Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать цикл эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

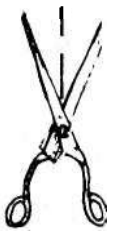
Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1800 лир, на шесть месяцев — 1050 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1900 лир и 1150 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий — не позднее мая 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год — 48$, на шесть месяцев — 24$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR, на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370)

В ГЕРМАНИИ на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).



"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек...

Подпись ..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:
P.O.B. 24123, Tel Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel

"КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" МИХАИЛА ДЕМИНА

Михаил Демин, которому, наряду с биографическими романами, принадлежат две остросюжетных повести /"И пять бутылок водки"/ "Тайны сибирских алмазов"/, недавно закончил работу над необычным словарем, который он сам называет "Блатной карманной энциклопедией".

"Карманная энциклопедия" состоит из нескольких разделов. Помимо традиционного словаря, она включает обширные главы, посвященные песенному блатному фольклору, а также легендам, сказам, разного рода преданиям. В "Энциклопедии" широко представлены поговорки, пословицы и частушки, которые, собственно, и составляют истинное богатство "блатного фольклора".

В "Энциклопедии" есть статьи по истории российского блатного мира, о происхождении жаргона, о "фенях" и скоморохах, об отечественном "черном" рынке, о воровских профессиях, о кровопролитной "сучьей войне" и о многом другом.

"Блатной жаргон непрерывно меняется, модернизируется, что, в сущности, закономерно, — пишет в предисловии Демин, — ведь "феня" — особый, тайный язык. Раскодированный, он лишается смысла... Однако в творчестве подпольного мира есть такие категории, которые никогда не меняются; в них точно отражены все этапы истории. Это прежде всего — легенды, песни, пословицы. И вот почему я самое главное внимание уделяю не словарю, а именно фольклору, надежно хранящему и точно отражающему весь многообразный, многолетний опыт социального дна каторжной жизни России".

Я ПОКАЗАЛ ЙОХЕ НАГЕЛЬ, СОТРУДНИЦЕ БАНКА, В КОТОРОМ У МЕНЯ ОТКРЫТ СЧЕТ, "ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", ПОЛУЧЕННОЕ МНОЙ ОТ "ХЕВРАТ ХАШМАЛ". ОНА ПОСОВЕТОВАЛА МНЕ ДАТЬ ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ БАНКУ НА ОПЛАТУ СЧЕТОВ ЗА ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Я ПОСЛЕДОВАЛ ЕЕ СОВЕТУ, И У МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕЛЕФОН.

בנק לאומי הבנק שלי.

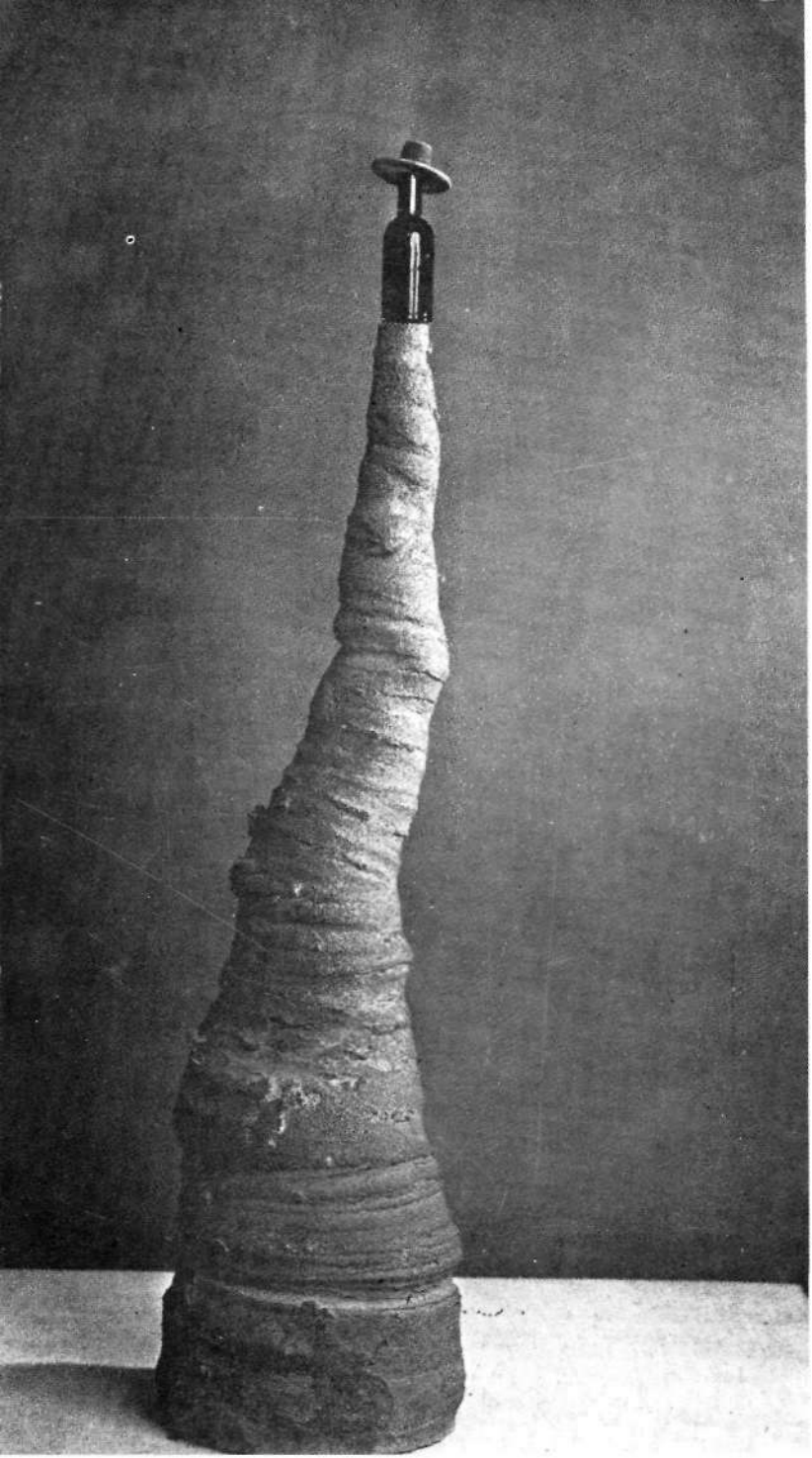
בנק לאומי

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.
Тел. (03) 31-58-40.
26 Shenkin St., Givataim.
Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П. Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6, Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Бибилиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский
Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман
Технический редактор И. Левин

На четвертой странице обложки: Эдуарде Арройо "Скульптура".